

С Е Р И Я
П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Т Е О Р И Я

AESTHETIC
POLITICS

*Political Philosophy Beyond Fact
and Value*

FRANKLIN ANKERSMIT

Stanford University Press

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

*Политическая философия
по ту сторону факта
и ценности*

ФРАНКЛИН АНКЕРСМИТ

Перевод с английского
ДМИТРИЯ КРАЛЕЧКИНА



*Издательский дом
Высшей школы экономики*
МОСКВА, 2014

УДК 32.001
ББК 87.815
А67

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Научный редактор
ИРИНА БОРИСОВА

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Анкерсмит, Ф. Р.

А67 Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. И. Борисовой; Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 432 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0812-1 (в пер.).

Вопреки распространенному в западной политической философии рассмотрению политики с этической точки зрения, в настоящей книге известный нидерландский историк идей Франклин Анкерсмит предлагает взглянуть на политику в эстетическом ключе. Подробно рассматривая понятие политической репрезентации, лежащее в основе парламентской демократии, он обращает внимание на его эстетические коннотации. Репрезентация всегда указывает на эстетический разрыв между репрезентируемым и самой репрезентацией; именно в этом эстетическом разрыве берет начало легитимная политическая власть. В представительной демократии эстетический разрыв проявляется в том, что представитель выступает не поверенным, а делегатом избирателя, обладая определенной автономией по отношению к избирателю, подобно тому как картина обладает определенной автономией по отношению к тому, что на ней изображено. Эстетический подход предлагает новый, оригинальный взгляд на истоки и природу демократии и вызовы, с которыми она сталкивается сегодня.

Книга представляет интерес для политологов, историков и философов.

УДК 32.001
ББК 87.815

В оформлении обложки использован фрагмент картины австралийского художника Джеффри Смарта (Jeffrey Smart, 1921–2013).

AESTHETIC POLITICS: POLITICAL PHILOSOPHY BEYOND FACT AND VALUE by Frank Ankersmit was originally published in English by Stanford University Press. This translation is published in agreement with Stanford University Press, www.sup.org

ISBN 978-5-7598-0812-1 (рус.)
ISBN 0804727309 (англ.)

Copyright © 2000 by the Board of Trustees
of the Leland Stanford Junior
University
All rights reserved.
© Перевод на рус. яз., оформление.
Издательский дом
Высшей школы экономики, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ	9
ПРЕДИСЛОВИЕ	10
ВВЕДЕНИЕ. ПРОТИВ ЭТИКИ	15
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО	36
II. СТОИЦИЗМ, ЭСТЕТИКА И ДЕМОКРАТИЯ.....	86
III. РОМАНТИЗМ, ПОСТМОДЕРНИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ.....	143
IV. ПОЛИТИКА И ИРОНИЯ	199
V. ПОЛИТИКА И МЕТАФОРА	298
VI. МЕТАФОРА И ПАРАДОКС В ПОЛИТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ТОКВИЛЯ	344
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДЕМОКРАТИЯ В ЭПОХУ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ	398

Задача состоит в том, чтобы узнать, какую высшую истину способен воспринять народ, твердить и проповедовать ее.

*W. Bagehot. The English Constitution**

* *Bagehot W. The English Constitution. Oxford, 1928. P. 180. [Цит. по изд.: Беджгот В. Государственный строй Англии / пер. Е. Прейса; под ред. Н. Никольского. М., 1905. С. 232. — Здесь и далее ссылки на русские издания приводятся в квадратных скобках. — Примеч. пер.]*

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Прежде всего я хотел бы выразить благодарность тем, кто прочитал эту книгу в рукописи: Джону Пококу, Хансу Гумбрехту, анонимному читателю из Уэслианского университета и особенно Хейдену Уайту, чья постоянная поддержка составляет одну из величайших удач в моей жизни. Я чрезвычайно признателен Энтони Рунии, который с присущими ему компетентностью и скрупулезностью исправил мой английский. Я премного обязан Энн Клефстад за подготовку рукописи для публикации. Меня поразило то, как глубоко она сумела вникнуть в аргументацию, что способствовало приданию ясности и убедительности тексту в его окончательном варианте. Без нее эта книга была бы совсем другой. Хотел бы поблагодарить Гарри Брекена за многочисленные и в высшей степени полезные замечания как о самом тексте, так и о недостатках приводимых обоснований. Но в самом большом долгу я перед своим старым учителем Эрнстом Коссманом — оба мы знаем почему.

Две последние главы книги ранее были опубликованы в несколько иной форме: *Metaphor in Political Theory // Knowledge and Language*. Vol. III: *Metaphor and Knowledge* / ed. by F.R. Ankersmit, J.J.A. Mooij. Dordrecht, 1993. P. 155–203. © 1993 by Kluwer Academic Publishers; *Tocqueville and the Sublimity of Democracy*. Parts 1, 2 // *Tocqueville Review*. 1993. Vol. 14; 1994. Vol. 15.

Благодарю издателей за разрешение перепечатать здесь эти очерки.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Истоки этой книги восходят к середине 1980-х годов, когда я закончил книгу о нарративной логике. В ней я хотел предложить вариант историзма, который удовлетворял бы требованиям философии языка конца XX века. Поскольку историзм не только был теорией истории, но и имел политические последствия, причем столь очевидные и неизбежные, что он серьезно изменил лицо политической философии в XIX столетии, я, естественно, спросил себя, какие последствия для политической философии могла бы иметь моя модернизированная форма историзма¹.

¹ Чтобы избежать путаницы здесь и везде в этой книге, необходимо вкратце разъяснить термины «историзм» и «историцизм». Последний получил распространение в англосаксонском мире главным образом благодаря влиятельной работе Поппера «Нищета историцизма» (1944). В этой книге Поппер жестко критиковал так называемые спекулятивные философии истории, то есть системы вроде тех, что создали Гегель, Маркс, Шпенглер и Тойнби в поисках смысла человеческой истории. Поппер убедительно показал, во-первых, что предсказания будущего часто были неверными, поскольку основывались на незаконном применении научных методов к сфере истории, и, во-вторых, что многие беспрецедентные политические катаклизмы первой половины XX столетия имели свои интеллектуальные корни в этих историцистских спекулятивных системах. Слово «историцизм» может иметь, однако, и другое значение, в сущности, почти противоположное тому, какое придал ему Поппер. Оно может означать также историческую теорию, подобную той, что вдохновляла практику написания истории, которая выразилась в сочинениях немецких историков XIX века, например Ранке, и которой Гумбольдт в 1827 году посвятил знаменитое теоретическое разъяснение «О задаче историка» (*Über die Aufgabe des Historikers*). Этот вариант историцизма Морис Мандельбаум определил так: «Историцизм есть вера в то, что адекватное понимание природы любого явления и адекватная оценка его ценности достигаются путем рассмотрения его с точки зрения места, которое оно занимало, и роли, которую оно играло в процессе развития» (*Mandelbaum M. History, Man & Reason. A Study in Nineteenth-century Thought. Baltimore; L., 1974. P. 41*). Описание других наиболее распространенных определений слова «историцизм» и взаимосвязей этих определений см. в моей работе «Мысли об истории» (*Denken over Geschiedenis. Groningen, 1986. P. 185 ff.*). И в теории, и на практике сторонники последнего определения отвергают спекулятивные системы, которые подразумеваются первым определением: вспомним хотя бы, что историцизм Ранке во многом был вызван его сильнейшей неприязнью к гегельянству и историческому априоризму, который он находил у Фихте. Чтобы избежать путаницы, я буду использовать термин «историзм» применительно к установкам в духе Ранке, а термин «историцизм» — для обозначения спекулятивных систем или, как их сейчас любят называть, «великих нарративов» философов вроде Гегеля

Толчком к ответу стала догадка, что перенести рассуждение из исторической теории в политическую можно лучше всего через понятие репрезентации. Историки репрезентируют прошлое, а политическое представительство (*representation*) вполне можно считать ядром парламентской демократии. И в работе об исторической теории, и в этой книге о политической философии я открыто признаю и принимаю все эстетические коннотации термина «репрезентация». Кроме того, не случайно историзм и парламентская демократия возникли в один и тот же момент западной истории: ведь истористский идеал «объективной» репрезентации прошлого для историка — примерно то же, что поиски *juste milieu*² в конфликте интересов и идеологий для демократического политика. И историзм, и демократия — типичные порождения Реставрации, когда Европа пришла в себя после падения Наполеона.

Общий элемент в моих концепциях исторической и политической репрезентации — отсутствие алгоритмов, которые связывали бы репре-

или Маркса. Для правильного понимания определения Ранке представим себе следующее. Допустим, мы пишем историю Наполеона. В этом случае мы можем быть уверены в предмете этой истории: очевидно, что им выступает человек из плоти и крови, живший в 1769–1821 годах и ставший императором французов. Теперь же предположим, что мы пишем историю рабочего движения и снова спрашиваем себя, каков предмет *этой* истории. Очевидно, ее предметом не будет работа, которая так или иначе движется, хотя это предполагается самим выражением «рабочее движение». Если такой предмет существует, мы должны будем связать его с тем, что происходило в умах рабочих и их политических лидеров XIX–XX веков, а также с политическими программами, разработанными этими лидерами. Несомненно, частью этого предмета будут и какие-то знания о Марксе, о сопротивлении капитализму и об ожиданиях в связи с будущей социальной революцией. Но что сказать, например, о позиции по отношению к духовенству или о знаниях о Великой французской революции? Станут ли и они частью предмета, который изучает история рабочего движения? Здесь историки разойдутся во мнениях. И в таком случае можно сделать весьма интересное наблюдение. Это расхождение во мнениях будет в точности совпадать с тем расхождением, какое мы встретим в исторических спорах о *собственно истории* рабочего движения. Поэтому *предмет* исторического спора о рабочем движении — то, о чем идет такой спор, — выясняется и может быть сформулирован только в *истории* рабочего движения и благодаря ей (почему мы и оказываемся здесь в ситуации, весьма отличной от ситуации с историей Наполеона). Иными словами, в случае истории рабочего движения мы не можем провести различие между предметом работы истории и историей, которая его представляет, и это, очевидно, заставляет нас повторить историцистское определение (в духе Ранке и Гумбольдта), согласно которому вещь есть то же, что ее история. Конечно, это суждение не следует путать с абсурдным утверждением, что историки создают прошлое: прошлое всегда останется тем, чем оно было, безотносительно к тому, что историки решат сказать о нем. Историки не *создают* прошлое; однако то, что они решают сказать о прошлом, определит то, какие данности мы захотим увидеть в нем.

² *Juste milieu* (фр.) — золотая середина. — *Примеч. пер.*

зентируемое с его репрезентацией. Очевидно, что как раз для этого у нас есть искусство: оно интересно тем, что в нем нет неизменных и общепринятых правил связывания репрезентируемого с его художественной репрезентацией. Спросив себя, что это могло бы означать применительно к политике, я нашел ответ в мысли Макиавелли о разорванности политической реальности. В политической реальности отсутствует непрерывность между правителем (или представителем) и его подданным (или представляемым). Совсем не сожалея об этом, в отличие от большинства людей мы усматриваем здесь не угрозу гражданской свободе и законной политической власти, а собственно их истоки. В этом отношении данная книга противостоит почти всей современной политической философии, для которой разорванность, если она вообще признается, выступает препятствием, которое следует преодолеть, а не началом политической мудрости.

Однако главная проблема заключается в другом. Совершенная противоположность между представляемым и представителем (предполагаемая ключевым термином «репрезентация», «представление»), похоже, постепенно распадается в нашем современном политическом мире. Различие между государством, политической партией и представителем, с одной стороны, и обществом и гражданином (или представляемым), с другой, сегодня все больше теряет очевидность, какой оно традиционно обладало. «Как же реагировать на это?» — спросил я себя.

Следует ли использовать понятие репрезентации и эстетической политической философии для объяснения такого постепенного размывания государства и утраты им контуров, а также для представления этого изменения как желательной неизбежности, которая введет нас в новый (счастливый) постгосударственный политический мир, что весьма убедительно недавно доказывали теоретики вроде Жана-Мари Гуэнно (точно так же как современное искусство, согласно Артуру Данто, стремится стереть традиционные барьеры между репрезентацией и тем, что репрезентируется)? Или размывание контуров государства составляет как раз нашу главную политическую проблему, а эстетическая политическая философия должна рассматриваться как лучший интеллектуальный инструмент для возвращения государству его контуров и уверенности в себе?

Я полагаю, что сколько-нибудь убедительного теоретического решения этой дилеммы найти нельзя. Вполне можно утверждать вместе с постмодернистами, что в нашем мире «все твердое исчезает» и что государство есть просто еще одна жертва этого процесса. Можно, напротив, доказывать, что мы нуждаемся в государстве, поскольку, как бы то ни было, оно — наш единственный коллективный институт, который может помочь нам решить политические проблемы. Так что в конеч-

ном счете, если я не ошибаюсь, эта дилемма может быть решена только практическими аргументами, то есть посредством максимально непредвзятой оценки нашей нынешней политической ситуации. Практика, а не теория должна иметь решающее значение.

Такого рода практические аргументы и заставили меня предпочесть второй подход к этой дилемме. Ведь после краткой эйфории 1989 года мы осознали количество и масштабность наших коллективных проблем — и должны будем так или иначе решить их за несколько ближайших десятилетий. Истощение нефтяных месторождений, мультикультурализм, безработица и ее рост, изменение климата, преступность, перенаселенность, этнические конфликты, социальный и физический распад крупных городов — невозможно даже представить, что есть шанс решить эти проблемы средствами того беспомощного и немощного государства, какое мы сегодня имеем. Если мы хотим справиться, необходимо более сильное государство.

Таким образом, упомянутую дилемму в конечном счете решает наше понимание будущего. Если мы считаем, что все грядущие коллективные проблемы могут быть и будут эффективно решены с помощью экспертов, сетей (финансовых или иных), лоббирования, бюрократий и всех тех институциональных микроорганизмов, которые выросли между гражданином и государством, если мы уверены, что в наше время политика действительно достигла своего конца, как и предсказывал Фукуяма, то вряд ли нам будет близка основная идея этой книги. Если же мы полагаем, что эксперты, сети и все прочее могут порождать свои, особые проблемы, часто преуменьшаемые или совершенно не замечаемые ими, и что даже в будущем по крайней мере *где-то* в «политическом теле» придется сделать *некоторое* усилие, чтобы понять, как эти проблемы связаны друг с другом и как можно было бы эффективно решить их, тогда мы поддержим содержащийся в этой книге призыв к более сильному государству.

Однако *более сильное* государство не следует отождествлять с *навязчивым* государством, к которому всегда стремятся социалисты и социал-демократы. Ведь подобное государство неминуемо оказывается слабым, поскольку его навязчивость проистекает из отсутствия у него силы противостоять гражданскому обществу, побуждающему его вовлечься в проблемы, из которых оно не сможет достойно выпутаться. Большое государство есть *sui generis*³ слабое государство, не способное сказать «нет»; его объемность — верный признак дряблости и немощи, неумения избежать участия в делах, которыми оно может лишь скомпрометировать себя. Сильное государство — подтянутое и автономное государство, которое сознает, что оно может служить гражданскому обществу

³ *Sui generis* (лат.) — своего рода, особого рода. — *Примеч. пер.*

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

только в том случае, когда не забывает о своей природе, своих возможностях и внутренних ограничениях, словом, государство, знающее, что ему надо пытаться делать лишь то, что оно может делать *хорошо*. Конечно, применительно к политику это означает, что он окажет наилучшую услугу демократии, если скажет обществу, что демократическое государство способно решить определенную политическую проблему, которая, как он прекрасно понимает, государству не по силам. Никакое иное ошибочное поведение политиков не посеет с большей легкостью семена справедливого разочарования, недоверия и презрения в сердцах граждан и не утвердит с еще большей силой два врожденных порока демократии — неумеренность и склонность игнорировать факты. Ничто не компрометирует демократию с большей силой, чем неясность подлинных возможностей (демократической) политики.

Посягательство на природу демократического государства в попытке выйти за рамки его возможностей может, видимо, создавать иллюзию всемогущества государства (соблазнительную иллюзию, порождающую два только что упомянутых главных порока), но в итоге приведет к его бессилию. Эта мысль даст нам верный синтез и *juste milieu* между традиционным правым аргументом в пользу небольшого и слабого государства и традиционным левым аргументом в пользу большого и сильного государства. Хорошее государство — это небольшое и сильное государство, за которое я буду ратовать; плохое государство — большое и слабое государство, которое мы ныне имеем в основной части западных демократий. Небольшой размер хорошего государства охранит его от переоценки собственных возможностей; это гарантирует, что оно будет делать только то, что способно делать хорошо; здесь же, наконец, находится источник его действительной, а не лишь кажущейся силы.

Однако по опыту этого столетия, когда существовали сильные (и большие) государства, мы знаем, что без демократии сильное государство может порождать страшнейший террор. Даже в небольших государствах не обязательно и не при всех обстоятельствах полностью исключена возможность террора. Как в таком случае примирить нашу любовь к демократии с необходимостью более сильного государства? Я убежден, что ответить на этот крайне настоятельный вопрос можно только в рамках эстетической политической философии.

Ф.Р.А.

Анлоо, сентябрь 1995 года

ВВЕДЕНИЕ

ПРОТИВ ЭТИКИ

В 1971 году Джон Ролз опубликовал свою знаменитую «Теорию справедливости». Часто говорят, что выход этой книги символизировал возрождение политической философии в наше время. Несомненно, в пользу такой оценки ее значимости можно привести много сильных аргументов. Академическая политическая философия до появления книги Ролза была анемичной дисциплиной, которая занималась главным образом концептуальным анализом терминов, таких как «долженствовать», «обязанность», «свобода» и т.д. Так называемая философия обычного языка, созданная и практиковавшаяся Гилбертом Райлом, поздним Витгенштейном и Джоном Остином, дала такого рода политической философии ее дисциплинарную матрицу. Несмотря на интеллектуальную точность и изобретательность, в избытке обнаружившиеся в этой политической философии, ее практическое значение приближалось к нулю; однако в согласии с философским аскетизмом, царившим в те времена, можно было и не покушаться на большее. Конечно, было некоторое количество политических теоретиков вроде Карла Поппера, Фридриха Хайека, Майкла Оукшота и Райнхарта Козеллека, которые уверенно выходили за эти тесные дисциплинарные рамки, пытались в своих работах предложить более содержательный и амбициозный анализ наличной политической реальности и высказывались о злободневных политических проблемах. Но как раз из-за их интереса к более конкретным сторонам политической реальности академические политические философы обычно воспринимали их труды с *air de dédain*¹. Бесплезность применительно к современным политическим проблемам считалась самой похвальной добродетелью политической философии, а не ее несовершенством. Полагали, что эта дисциплина должна одарить нас нетленным пониманием природы нашего концептуального политического аппарата и оставить дела земные, вроде обсуждения преимуществ и недостатков западной капиталистической демократии или коммунизма советского образца, неискушенным дилетантам, таким как политики, журналисты и партийные идеологи.

Ролз в корне изменил ситуацию. В своей книге он разработал несколько принципов распределительной справедливости — так сказать,

¹ *Air de dédain* (фр.) — нескрываемое презрение. — *Примеч. пер.*

должного распределения богатства и доходов в справедливом обществе. Итог его исследования, вообще говоря, заключался в том, что неравенство может быть оправдано только в том случае, когда оно соответствует интересам наименее обеспеченных членов общества. Двумя главными методологическими инструментами, позволившими ему прийти к такому выводу, были его понятия «исходное положение» и «занавес неведения». Ролз ввел эти понятия, поскольку полагал, во-первых, что мы можем содержательно обсуждать вопросы равенства и распределительной справедливости лишь в той мере, в какой нам удастся устранить все случайные и исторические факторы, делающие нас конкретными индивидами, и, во-вторых, что от этих факторов можно полностью избавиться с помощью приведенных двух понятий при их последовательном применении. История, если следовать методологии Ролза, — главный злодей, то измерение, которое нужно беспощадно и безжалостно изгнать. Словом, воображая себя в исходном положении, когда занавес неведения полностью скрывает нашу современную жизненную ситуацию, мы можем достичь понимания справедливого общества, не искаженного нашими нынешними интересами. Тем самым Ролз невольно сделал комплимент марксистскому пониманию идеологии, поскольку весь его метод явно продиктован желанием избежать идеологических искушений «ложного сознания», как всегда говорили марксисты. И, конечно, политические теоретики, менее подверженные марксистской паранойе в связи с ложным сознанием, не почувствовали бы желания вернуться к безжалостному абстрагированию от истории и случайности, которое требовалось методологией Ролза; напротив, они утверждали бы, что опора на историческую интуицию может лишь повысить практическую ценность теорий политических философов, и избегали бы бесплодной отвлеченности. Во всяком случае, подспудный марксизм Ролза парадоксальным образом побудил его вернуться к политической философии домарксовского образца, представленной (стоицистской) философией естественного права и, конкретнее, практической философией Канта. И действительно, последнюю Ролз благоговейно восхвалял именно за ее непреклонный антиисторицизм.

Два аспекта концепции Ролза особенно важны в этом контексте. Во-первых, его политическую философию можно было использовать для обоснования политической программы левого либерализма, весьма близкой к представлениям социал-демократических партий послевоенной континентальной Европы о надлежащем распределении богатства и доходов. Тем самым академическая политическая философия приобрела практическое значение, которого была явно лишена до Ролза. Во-вторых, политическая философия Ролза имела главной целью ответить на вопрос о *должном* распределении богатства и доходов

в справедливом обществе. Она была нацелена, следовательно, на сведение политики к этике. Политика, согласно Ролзу, есть прикладная этика, а этика в заданной его политической философией матрице служит основанием любой политической философии. Эти две особенности концепции Ролза безусловно подтверждают справедливость мнения, что он положил начало новой форме (академической) политической философии.

Влияние «Теории справедливости» вряд ли можно переоценить. Столь же широко обсуждаемая книга Роберта Нозика «Анархия, государство и утопия» была первой реакцией на нее, и с тех пор политическая философия почти полностью сводилась к обсуждению вопросов, поставленных на повестку дня Ролзом. Иногда коллеги высказывались критически (например, Майкл Сэндел в работе «Либерализм и пределы справедливости»), иногда они обнаруживали энтузиазм (например, Ричард Рорти в замечаниях о позднейших работах Ролза), но они не осмеливались выйти вонне или за рамки системы координат, установленной Ролзом. Современная политическая философия, которую мы находим в работах Рональда Дворкина, Брюса Акермана (США) или Брайана Барри (Великобритания), полностью вписывается в дисциплинарную матрицу, созданную Ролзом и позже детально разработанную им в быстро множившихся трудах.

В своем чрезвычайно полемическом очерке британский политический философ Джон Грей недавно начал любовную атаку на Ролза и ту политическую философию, которая благодаря ему так выдвинулась². Грей критиковал Ролза за то, что тот устранил все исторические, социологические и антропологические составляющие политической деятельности:

Поскольку современная политическая философия англосаксонского типа по большей части продолжает вдохновляться надеждами Просвещения и прежде всего надеждой, что люди избавятся от своих традиционных привязанностей и локальных идентичностей и объединятся во всеобщую цивилизацию, основанную на родовом единстве человечества и рациональной нравственности, она не может даже подступиться к решению политических дилемм нашего времени, ког-

² Очерк появился в «Times Literary Supplement» 3 июля 1992 года. Шапиро резюмировал академическую критику в адрес *opus magnum* Ролза за несколько лет следующим образом: «Во-первых, в высшей степени скептически воспринято неоднократно обсуждавшееся стремление неокантианцев к моральному нейтралитету <...>. Во-вторых, многие недовольны неспособностью неокантианцев удовлетворительно объяснить политическое сообщество <...>. В-третьих, вызывают критику и неокантианские поиски действительных принципов социальной организации, деонтологические по форме <...>. Вызывают беспокойство, наконец, идеологические составляющие неокантианских аргументов» (см.: *Shapiro I. Political Criticism. Berkeley, 1992. P. 9 ff.*).

да в политической жизни господствуют возрождающиеся партикуляризмы, воинственные религии и оживающие этничности. В результате главное течение современной политической философии обрело себя на политическое ничтожество и умственное бесплодие.

Поскольку Ролз устранил вышеупомянутые составляющие политической деятельности, он был обвинен в том, что лишил политическую сферу всех тех неприятных и неподатливых проблем, с которыми ежедневно сталкиваются политика и политики и которые они должны пытаться решить как можно лучше. Политическая философия Ролза, как полагает Грэй, дает этическую легитимность обществу, состоящему из одних только разумных и самоотверженных интеллектуалов, таких как сам Ролз. А все, что отличает исследование ученого от жестоких и грубых реальностей политической практики, теперь потерялось из виду. Поэтому нас не должно удивлять, говорит Грэй, что политическая философия Ролза и его последователей не имела совершенно никаких отзвуков в самой политике. Ни политики, ни граждане, ни политические партии (за исключением некоторых партийных идеологов) никогда не проявляли интереса к подобной политической философии, да никогда и не имели оснований реагировать по-другому.

И здесь мы видим фатальный недостаток политической философии Ролза по сравнению с философией, разработанной в сочинениях теоретиков более отдаленного прошлого, таких как Боден, Гоббс, Локк, Монтескье, Токвиль и Констан. Эти теоретики отвечали на великие политические вызовы своего времени — будь то религиозные гражданские войны в Европе в XVI–XVII веках (в случае Бодена и Гоббса), или же правильные отношения между сувереном и парламентом, которые позволили бы избегать конфликтов, вылившихся в события 1649 и 1688 годов (в случае Локка), или же вопрос о наилучшей конституции для парламентской формы правления, который стоял перед Монтескье и Констаном. Верно, конечно, что эти теоретики не испытывали неприязни к абстрактному рассуждению и им (не меньше Ролза) часто нравилось говорить на языке философии естественного права. Но использование этого языка было просто риторическим приемом для убеждения их читателей. Это было обращение к языку, употребляемому и почитаемому интеллектуальным сообществом, к которому они хотели обращаться, а вовсе не попытка затеряться в терминологических тонкостях языка или уклониться от неотложных политических проблем своего времени. А когда политический философ действительно ошибочно принимал язык своих теорий за их сущность, как это сделал Христиан Вольф, политическая идея редко переживала своего творца.

Иначе говоря, у теоретиков вроде Гоббса, Локка или Монтескье квазиуниверсалистские идеи, выраженные в терминах естественного права, всегда были нацелены на решение вполне определенной, конкретной и неотложной политической проблемы, с которой западноевропейское общество столкнулось на каком-то этапе своей истории. И идеи этих теоретиков остаются интересными вплоть до наших дней не потому, что они, скажем, предложили более или менее убедительную версию философии естественного права, и не потому, что выводы у них всегда следовали из посылок, а потому, что в своих сочинениях они сумели концептуально осмыслить эти насущнейшие проблемы и тем самым способствовать установлению нового баланса политических сил между государствами Западной Европы или внутри этих государств. Их сочинения неизменно остаются интересными благодаря учету и осознанию важнейших проблем того времени, показывающим, как следует реагировать на них, теоретически осмысливать их и какой язык и понятия нужны для их решения. Они знали, что политический теоретик может представлять ценность для практической политики только в том случае, если наделен способностью и *Fingerspitzengefühl*³ для выявления шестеренок политического механизма, которые мешают ему хорошо работать. Они знали, что политический теоретик должен быть механиком, а не конструктором политических машин и что универсализм конструктора совершенно новых политических машин неизбежно обрек бы политического теоретика на академическую бесполезность. Политический философ прежде всего должен обладать острым зрением Линкея, чтобы обозревать во всей полноте сложности общественного устройства, видеть сквозь все концептуальные покровы, которыми оно задрапировано, и в конце концов выяснить, где скрывается политическая раковая опухоль. Нет ничего труднее этого. Это потребует от политического философа объективного видения своей эпохи, в какой-то мере выхода из нее. Только глядя на существующий политический механизм так, словно видишь его впервые, можно понять его изъяны.

Этим-то метод содержательной политической философии и отличается столь явно от метода Ролза: последний выходит за рамки истории, чтобы забыть о ней, здесь же предлагается выйти вовне или за рамки истории, для того чтобы наилучшим образом постичь ее. Но лишь в той мере, в какой политическому философу удастся решить эту задачу, он может надеяться быть услышанным теми, кто сможет удалить политическую опухоль. Только тогда политический философ станет практически значимым для своего времени. А если политиче-

³ *Fingerspitzengefühl* (нем.) — чутье; букв. — ощущение на кончиках пальцев. — *Примеч. пер.*

ская философия не справляется с этой задачей — подобно Ролзу и всей политической философии, избирающей этику своим руководителем и основанием, — то можно считать, что она лишь усиливает путаницу и умножает число проблем, которые мы уже имеем. Действительно, универсалистская, или этически ориентированная, политическая философия не решает проблемы, а лишь создает новые, формулируя задачи, которые до сих пор никто не захотел поставить на политическую повестку дня. Политический философ, который хочет открыть этические основания справедливого порядка, не решает проблемы, а создает их — хотя, надо добавить, мало кто посчитает серьезными «новые» проблемы, подсказанные философом, и их, скорее всего, отнесут к категории проблем уже существующих. Именно так, например, идеи Ролза были использованы в программах социал-демократических партий.

Точнее говоря, только в том случае, если бы возникла своего рода политическая церковь, где проповедовались бы откровения, скажем, «Теории справедливости», и только если бы все мы стали истинными приверженцами этого нового политического Евангелия, — только при таких весьма маловероятных обстоятельствах подобная книга могла бы иметь сколько-нибудь реальное политическое влияние, помочь в решении наших социальных и политических проблем. Но, пока люди остаются все тем же старым Адамом, каким они всегда были, пока им свойственна непредсказуемая смесь эгоизма и альтруизма, рациональности и иррациональности, пока политические проблемы суть «жизненные» проблемы, а не вновь изобретенные, книги вроде «Теории справедливости» останутся лишь поводом для праздных дискуссий и безобидной темой академических конференций. Словом, у нас есть, в сущности, все основания согласиться с сокрушительным выводом Грея: «Возможно, политическая философия и возродилась в 1971 году [когда вышла «Теория справедливости»], но она была мертворожденной»⁴.

Конечно, более интересным для нас будет теперь то, что в свою очередь готов предложить Грей. Он хвалит «Нравственность свободы» (The Morality of Freedom) Джозефа Раца и «Кривое полено человеческого рода» (The Crooked Timber of Humanity) Исайи Берлина, поскольку в этих книгах признается, что различные индивиды и, конечно, индивиды, представляющие разные культуры и окружения, будут иметь разные мнения о хорошей жизни (Рац) и что дорогие нам ценности, к несчастью, часто противоречат друг другу (о чем мы склонны забы-

⁴ Gray J. Enlightenment's Wake: Politics and Culture at the Close of the Modern Age, L., N.Y.: Routledge, 1995. P. 1–2. [Грей Дж. Поминки по Просвещению. М.: Праксис, 2003. С. 15.]

вать из-за так называемой ионийской ошибки, по Берлину)⁵. Конечно, эти поправки к мечтам, внушенным философией естественного права, очень радуют, однако сомнительно, что их будет достаточно для создания содержательной политической философии, действительно способной помочь нам при необходимости отремонтировать политический дом, в котором мы сегодня живем. Ведь такие книги все еще принадлежат к парадигме Ролза, поскольку они сосредоточены на мире индивидуальных граждан, на том, каков с этой точки зрения наиболее желательный политический порядок и с какими проблемами мы можем столкнуться, если попытаемся осуществить этот порядок. Общая посылка этих книг и подхода Ролза заключается в том, что политический порядок создается и понимается с точки зрения индивида или индивидуального гражданина.

Вообще говоря, если сегодня принято выделять три основных традиции в главном русле современной политической философии — либеральную традицию (представленную Ролзом или Дворкином), республиканизм (Джон Покок) и коммунитаризм (Аласдер Макинтайр, Чарлз Тэйлор, Амитай Этциони), — то этот же критический аргумент можно адресовать каждой из этих традиций. Первая из них находит основание политического порядка в том, что разумный индивид считает справедливым политическим и социальным порядком; вторая хочет найти такое основание в желании индивида отождествить себя с общественным интересом; а третья видит его в том, как индивид может осуществить свое «я» и все свои способности в социальном и политическом порядке. Но эти три традиции имеют два общих качества: индивид всегда рассматривается как базис или основание социального и политического порядка; и не проводится четкого различия между социальным, или дополитическим, и политическим порядками. Иначе говоря, политический порядок всегда рассматривается как эманация или сторона индивида, к которому в конечном счете могут быть сведены все существенные качества этого политического порядка. Весьма странно, что индивиду-

⁵ Тем не менее Берлин иногда вплотную подходит к эстетической политической философии, которая отстает в этой книге. Как будет показано в гл. III, одним из основных источников эстетической политической философии выступает перспективизм Макиавелли. Этот перспективизм уже заметил и верно понял Берлин: «Он [Макиавелли] устанавливает нечто еще более глубокое — различие между двумя несовместимыми идеалами жизни и, соответственно, двумя моральями. Одна есть мораль языческого мира: ее ценности — смелость, энергия, стойкость в несчастьях, публичные достижения, порядок, дисциплина, счастье, сила, справедливость, а превыше всего — утверждение собственных претензий, как и знание и могущество, необходимые для их удовлетворения <...>. Этому моральному универсуму <...> противостоит прежде всего христианская мораль» (*Berlin I. The Originality of Machiavelli // Id. Against the Current. Oxford, 1983. P. 45*). Выбор морали определяется «перспективой» (р. 40); эти две морали не имеют общего фона, который помог бы нам в выборе.

ализм во всех трех традициях современной политической философии соединяется с отсутствием барьера, который эффективно препятствовал бы полной политизации всех межчеловеческих отношений. Как ни парадоксально, это результат их крайнего индивидуализма. Ведь если индивид столь последовательно и неотступно кладется в основание социального и политического порядка во всех его аспектах, то мы неминуемо лишаемся способа различить общество и сферу политики. Ни в одной из этих традиций нам не придется (мысленно) перешагивать непреодолимый барьер, гарантирующий неприкосновенность индивида, при движении от индивида к государству или наоборот. Каждая из этих традиций, следовательно, в той или иной мере поддалась соблазнам тоталитаризма, присущего почти всей политической мысли до XIX века. Значит, как ни странно, самой действенной защитой от тоталитарного соблазна оказывается не индивидуализм (как нам зачастую нравится думать, несмотря на мудрые уроки Джекоба Талмона), а, напротив, признание существования некой сферы, которая не может иметь своим основанием индивида и которая автономна по отношению к индивидуальному гражданину. Наша действительная свобода — свобода скорее найденная, нежели основанная на чем-то (или «сделанная»).

Парадоксальным образом не индивидуализм, а определенный коллективизм, ограниченное признание автономии коллективности в ее отношении к индивиду, оказывается лучшим другом и союзником сферы индивидуальной свободы. Ведь если индивид рассматривается как единственное и предельное основание всех социальных отношений между гражданами, то не остается ничего принципиально недостижимого для коллективной воли и желания индивидов. И именно это якобинское убеждение, что ничто в политической реальности не недостижимо для индивида или коллектива индивидов, лежит в основании всех вариантов тоталитаризма. Единственное твердое основание индивидуальной свободы должно находиться, напротив, в осознании наличия сферы, которая всегда и неизменно остается вне досягаемости даже для нашей коллективной воли. Таков безусловно существенный парадокс, который ни одна из трех вышеупомянутых парадигм современной политической философии не смогла осознать. Ведь там, где коллективизм успешно бросает вызов любой попытке свести коллективность к индивиду, где, следовательно, коллективность ясно демонстрирует свою автономию по отношению к индивиду, мы в то же время находим *место*, где индивид обладает *своей* автономией по отношению к коллективности. Если есть, так сказать, воображаемая линия, за которой дерево становится просто частью леса, то эта линия *eo ipso*⁶ указывает также, где отдельное дерево

⁶ *Eo ipso* (лат.) — тем самым. — Примеч. пер.

имеет свою уникальную и неуничтожимую индивидуальность. Следовательно, лучший довод в пользу неприкосновенности и целостности индивида (гражданина) парадоксально предполагает предварительную уступку коллективизму, и всякий, кто отказывается сделать эту уступку, в конечном счете часто приходит к болезненному пониманию того, что он невольно попал в сети тоталитарного образа мысли.

Это может также объяснять, почему сильнейший противовес тоталитарному соблазну мы находим не в современной политической философии (за немногими яркими исключениями, такими как работы Поппера, Талмона, Хайека или Арона)⁷, а в том простом факте, что политики в западных демократиях чаще всего обладали здравым смыслом и на практике понимали, что есть определенные границы для их стремлений. Они сознавали, что в государстве есть коллективные силы, которых никогда не победят ни они, ни их brutальнейшие или медоточивейшие коллеги. Эту пронизательность, которой мы обязаны нашей свободой, волнуяще охарактеризовал Гизо после событий 1848 года: «Мы знаем свои пределы, пределы своей политической пронизательности и своей воли. Мы были могущественны, безмерно могущественны. И все же мы не смогли осуществить нашу волю, поскольку она расходилась с законами вечной мудрости; и об эти законы наша воля разбилась, как стекло [*contre ces lois notre volonté s'est brisée comme une verre*]»⁸. Поистине надежным гарантом нашей свободы служит не какая-то теорема политической философии, выдвинутая Локком, Кантом или другим героем современных политических философов, а сознательное или неосознанное признание политиками существования в политической действительности элемента чистой инерции, огромной и неподвижной массы, которую никогда не преодолет даже коллектив, — точно так же, как даже самая упорная коллективная воля всех акционеров к обогащению как таковая ни на дюйм не сдвинет индекс Доу — Джонса в направлении, которого они так отчаянно желают.

Сходным образом тоталитаризм советского образца пал не в силу аргументов, которые можно было бы как-то сопрячь с догмами современной демократической политической мысли, но опять же благодаря тому простому факту, что некое *приличие* (удивительно воплотившееся в личности Михаила Горбачева) просочилось в нравы советских вождей. А под политическим приличием я понимаю две следующих вещи: во-первых, готовность признать и уважать ту пассивную и непобеди-

⁷ Они неустанно привлекали внимание к губительным непреднамеренным последствиям попыток осуществить как раз самые высокие политические идеалы — и, таким образом, их индивидуализм сочетался с четким осознанием пределов индивидуализма.

⁸ Цит. по: *Rosanvallon P. Le moment Guizot. Paris, 1985. P. 302.*

мую инерцию, присутствующую в политической сфере, о которой я упомянул чуть выше, и, во-вторых, способность творчески сообразовывать свои политические цели с этой наличествующей инерцией, а не пытаться атаковать ее всеми доступными средствами. Это приличие можно считать, пожалуй, важнейшей частью всякой политической мудрости, если вспомнить старое суждение, что в политике разница между мудрым человеком и глупцом состоит в том, что первый сразу делает то, что последний делает только в конце, а значит слишком поздно. Ведь политический глупец не способен признать социальные и политические реальности как таковые, тогда как мудрый человек обладает (глубоко некантианским) приличием и сознает, что иногда должен приносить в жертву реальности свои даже самые разумные, самые похвальные и самые заветные цели, поскольку в конкретных обстоятельствах упрямое преследование этих целей может оказаться разрушительным для всех заинтересованных сторон.

То, что мы можем потерять, отбросив пуризм кантианского *fiat iustitia, pereat mundus*⁹, с лихвой окупается приходящим наконец пониманием внутренней связи между политической мудростью и политическим приличием, так что с политической точки зрения совершенно неразумно не быть приличным. Или, если вернуться к Горбачеву, не «гласность» и «перестройка» означали конец советского коммунизма, а политическое приличие именно этого человека, то есть его мудрость, проявившаяся в признании бессмысленности попытки благополучно пережить шторм, который он невольно вызвал, стремясь устранить его причины. Горбачев имел *приличие* не начинать с уничтожения своих оппонентов в традиционном советском духе, поскольку у него достало *мудрости* понять, что прямая конфронтация с новыми реалиями российского общества была бы катастрофой и для него самого, и для его народа. И у государственных мужей западных демократий, и у Горбачева эти родственные добродетели приличия и мудрости коренились в понимании *автономии* сферы политики, ее неподконтрольности воле индивида или индивидуального политика. Все они сознавали, что осмысленная деятельность политика полностью исчерпывается попытками как можно эффективнее решать проблемы в этой сфере, неподконтрольной коллективному желанию и воле, и что для полного подчинения ее у них никогда нет власти и силы. Они понимают, что область политики — своего рода вторая природа: мы можем лишь в каких-то отношениях подчинять или преобразовывать ее, но не можем формировать ее в полном соответствии с нашими желаниями. Это практическое понимание автономии политической сферы оказалось лучшим гарантом человеческой свободы.

⁹ *Fiat iustitia, pereat mundus* (лат.) — пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир. — *Примеч. пер.*

Всякая ответственная политика и политическая теория, следовательно, почти исчерпываются попытками найти оптимальную середину между свободой и необходимостью, управляющей политической сферой.

Общей причиной никчемности и опасности (странное сочетание!) современной политической философии, упомянутых в предыдущем абзаце, оказывается ее ориентация на этику. Этика пытается ответить на вопрос о том, как человек должен поступать в определенных обстоятельствах. Поскольку этический вопрос сформулирован таким образом, этика никогда не выходит из сферы того, что индивид может и будет делать. Коль скоро мы вступаем в сферу, где политика обладает автономией, которую мы ей только что даровали, мы покидаем сферу этики и подчинения социального деятельности индивида. Поспешу добавить два следующих уточнения. Во-первых, моей целью решительно не выступает отрицание значения этики для определенных сторон наших отношений друг с другом или с животными. Этика уместна там, где она применима; но она применима отнюдь не везде, и ориентация на этику в политике вполне может вызывать политическое отупление. Я критикую сейчас в конечном счете *сведение* всей политики к этике, которое отстаивает современная политическая философия. Политика не представляет собой раздел этики, она — нечто иное и существенно большее. Во-вторых, требование признать автономию политики по отношению к этике, к целям и сфере этики, нимало не предполагает — хотя, пожалуй, кто-то может испытывать соблазн заключить обратное — принятия холистских, коллективистских или тоталитаристских посылок.

Это возвращает меня к центральной мысли данного введения. Когда Боден или Гоббс предложили понятие суверенитета, для того чтобы остановить разгоревшуюся тогда религиозную гражданскую войну, они отчетливо понимали, что этическое осуждение этой гражданской войны (пусть вполне справедливое и необходимое) было бы таким же бесполезным, как и обращение с проповедью к дереву, если перефразировать Фридриха Великого. Ведь в сущности почти все католики и протестанты в XVI–XVII веках искренне верили, что эта война есть их высший нравственный долг. И, кроме того, если предположить, что подавляющее большинство действительно поверило бы, что убивать ближнего по религиозным соображениям морально недопустимо, даже это не означало бы, что *eo ipso* появились средства установить религиозный мир, пусть и желанный для всех. Ведь даже если мы все хотим достичь определенной цели, это не означает, что теперь у нас есть ответ на инструментальный вопрос о том, как осуществить нашу коллективную волю. Вновь воспользуюсь моим прежним примером: все игроки на фондовой бирже хотят разбогатеть — и при определенных обстоятельствах это действительно происходит, поскольку фондовая биржа не представляет

собой игру с нулевой суммой, — однако они не могут постоянно воспроизводить эти обстоятельства. Следовательно, даже если некая этическая заповедь действительно совпадает с нашей коллективной волей, само по себе это не гарантирует решения соответствующей политической проблемы.

Именно в сопротивлении нашей коллективной воле и желанию автономия политической сферы (и ее внеположность сфере этики) обнаруживает себя наиболее отчетливо. Ведь, как ренессансная *virtù*¹⁰ позволяла макиавеллиевскому государю как-то ограничивать непредсказуемое поведение богини Фортуны, точно так же автономия политики по отношению к воле индивида не означает, что мы совершенно бессильны по отношению к ней¹¹. Если вернуться к вышеупомянутому примеру, авторы «Шести книг о государстве» (*Les six livres de la République*) и «Левиафана» хотели выработать в теории суверенитета концептуальный инструмент, который позволил бы уменьшить автономию и инерцию политической сферы и положить конец ужасам религиозной гражданской войны. Другими словами, подобно всем великим политическим теоретикам, Боден и Гоббс действительно признавали в политической сфере некое свойство, которое правильно было бы связать с холизмом и коллективизмом. Точнее говоря, они осознали главную политическую проблему и обсуждали в своих трудах как раз *то* проявление политической инерции, дальнейшего существования которого надо было не допустить, чтобы избежать коллективного европейского самоубийства. Конечно, они понимали, что в политической сфере есть некая целостность или коллективность, с которыми мы сталкиваемся, когда обнаруживаем, что политическая реальность имеет собственную волю, более сильную, чем воля всех индивидов вместе взятых. И они знали, что в этом и заключается сама сущность того, что мы воспринимаем как политическую проблему. Так, сегодня все мы знаем, что в отношениях между гражданином и демократическим государством конца XX века есть что-то глубоко неправильное, и все мы хотим улучшить их, но просто не знаем, как мобилизовать свою коллективную волю. Признание Боденом и Гоббсом этой стороны политики было отправным пунктом их размышлений о путях восстановления необходимого контроля над ней. Их теория суверенитета позволила им (и тогдашней практической политике) обуздать инерцию, или холизм, современной им политической реальности. И действительно, положить конец религиозной гражданской войне удалось в какой-то мере благодаря понятию суверенитета, кото-

¹⁰ *Virtù* (*ит.*) — доблесть, добродетель. Термин Макиавелли; в большинстве современных текстов по политической философии оставляется без перевода в силу многозначности. — *Примеч. пер.*

¹¹ См. гл. IV, разд. 2 наст. изд.

рое они ввели и теоретически развили. Таким образом политическая философия спасла жизни многих наших предков. Словом, сначала мы должны подчиниться диктату коллективизма и холизма, чтобы потом преодолеть их на более позднем этапе. Или, если сказать это же на языке политической теории XVI века, не признав сначала могущества богини Фортуны, мы никогда не поймем, как наша *virtù* может ограничивать ее.

Современная академическая политическая философия не стремится к тому целенаправленному присвоению политической сферы, какое мы наблюдаем со стороны Бодена и Гоббса, просто потому, что она забыла, что именно в этом можно видеть главное назначение политической философии¹². Подчиненность этике выталкивает ее в тесные пределы методологического индивидуализма. Этот самопаралич современной политической философии можно объяснить двумя факторами. Прежде всего, наше столетие пережило столь катастрофический опыт политического коллективизма и холизма, что даже малейший намек на уступку им сразу и автоматически вызывает сильнейшее отталкивание. Но, как часто бывает в политике, вполне понятная чрезвычайно острая реакция породила именно то, против чего она была направлена. Самоослепление политических философов, не желающих видеть холистские и коллективистские механизмы современной политики, способствовало беспрепятственному воцарению непреднамеренных последствий, которое составляет главную политическую проблему нашей эпохи. Мы можем распознать холистские и коллективистские механизмы как таковые и даже противодействовать им лишь в той мере, в какой политический философ доводит их до нашего сознания и раскрывает их сущность¹³. Далее, демократия, вопреки возможным ожиданиям, по своей сущности

¹² Здесь я должен сделать исключение для весьма тонких мыслей Юна Эльстера о возможном строго рациональном решении многочисленных «дилемм заключенного», обнаруживающихся в современном политическом мире, на основе коллективизма. См., в частности: *Elster J. Nuts and Bolts for the Social Sciences*. Cambridge, Eng., 1989. Chap. 4.

¹³ Весьма показательный пример нашего замешательства перед непреднамеренными последствиями — посвященная им глава книги Эльстера «Об основах социальных наук». Вместо того чтобы спросить, как возникают непреднамеренные последствия, Эльстер сосредоточивается на второстепенном вопросе, выясняя, можно ли объяснения в социальных науках выразить на языке непреднамеренных последствий. Тем самым траектория между намерением и непреднамеренными последствиями остается неизученной. Говоря конкретнее, при обсуждении, например, так называемого «свиного цикла» (который раз за разом разочаровывает свиноводов, связывающих с ценами на свиней определенные намерения и надежды) непреднамеренные последствия предстают в объяснении Эльстера социологическим фактом или данностью, а не поводом для исследования в философии действия, не вопросом о возможном значении этой данности для осмысленного социального и политического действия.

противостоит всем формам коллективизма. Разве предположение, что если в условиях демократии все мы хотим решить определенную политическую проблему, то мы должны быть способны ее решить, не кажется нам сразу же само собой разумеющимся? Где и как может возникать таинственная коллективная сила, которая способна противостоять нашей коллективной демократической воле? Значит, демократия порождает чувство всемогущества, исключаящее понимание присутствия в политической реальности измерения, которое не подчиняется коллективной воле индивидуальных граждан. В этом смысле демократии от рождения свойственно сопротивляться холизму и коллективизму.

И хотя наша жизнь в западных демократических странах в последнее время, особенно после исчезновения советской угрозы, свидетельствует о нарастающем коллективном бессилии и об убывающей способности государства помешать растворению всех его действий в облаке непреднамеренных последствий, это не заставило нас лучше осознать инерцию, или автономию, политической сферы, которую мы здесь обсуждаем. Напротив, наш этически или демократически инспирированный антиколлективизм и вызванная им слепота к силам политической инерции привели к свободному и необузданному разрастанию разного рода непредвиденных и неожиданных механизмов. Они с легкостью отдаляют результаты наших коллективных действий от наших первоначальных намерений, причем в масштабах, каких не знала вся предшествующая история человечества. Мы как никогда сильно изменили социальные и физические реальности мира, в котором живем, но как никогда мало способны определить природу этого изменения. Конечно, если будущие историки захотят назвать наше время «эпохой непреднамеренных последствий», то разве они могли бы найти ярлык, который лучше характеризовал бы (и осуждал) созданный нами политический мир? Эксплуатация окружающей среды, разрыв между этическими идеалами государства всеобщего благосостояния и тем, как оно подорвало свой экономический базис и основания, связь между индивидуализмом и преступностью — все эти факты доставят будущим историкам красноречивые примеры того, как наша эпоха систематически ограничивала свой горизонт казалось бы хорошими с технологической или нравственной точек зрения идеями, не особенно интересуясь непреднамеренными последствиями попыток осуществить эти идеи. И я поспешу добавить, что были бы доставлены и новые примеры, если бы мы видели здесь достаточный аргумент в пользу отказа от индивидуализма, государства всеобщего благосостояния и т.д. Ведь непреднамеренные последствия имеют неприятное свойство невозмутимо создавать новые непреднамеренные последствия, если мы пытаемся противодействовать им, просто устраняя их причины.

Моя аргументация до сих пор была преимущественно негативной, представляла собой критику основного течения в современной академической политической философии. Очевидно, я не должен этим ограничиться. Теперь я хочу сказать несколько слов о том, каким условиям, на мой взгляд, должна удовлетворять политическая философия, чтобы она могла способствовать решению самых неотложных политических проблем. В этом контексте я хочу вернуться к ренессансному понятию *virtù*, упомянутому чуть выше. *Virtù* — это способность государственного деятеля сразу разобраться в сложной ситуации и схватить ее суть. Речь идет о таланте государственного мужа, который, проанализировав ситуацию, понимает, в каком направлении надо действовать, обладает личной властью и харизмой, заставляющими других реагировать на его волю и присутствие, но самое главное — тонко чувствует верный момент для политического действия. *Virtù* тесно связана с *prudentia*¹⁴, благоразумием, которое классические авторы, такие как Цицерон, считали высшей политической добродетелью. Его компоненты недавно перечислил Андреас Киннегинг:

Цицерон называл его *ars vivendi*¹⁵ и «знанием вещей, которые следует искать и которых нужно избегать», то есть добродетелей и пороков <...>. Близкие понятия — рассудительность, такт, *Urteilkraft*¹⁶, хороший вкус и здравый смысл. Тот факт, что благоразумие и его возможные синонимы, похоже, все больше исчезают из нашего словаря, указывает на то, что современное сознание испытывает трудности с этими понятиями¹⁷.

Virtù и *prudentia* выводят за рамки тех действий, которых требует от нас этика, но не в том смысле, что они совершенно противоположны морали, а в том, что они предлагают рассматривать мораль как лишь одно из нескольких соображений, лежащих в основании политического действия. Они скорее внеморальны или надморальны, чем аморальны.

Virtù и *prudentia* — политические или практические добродетели, и они требуют от политика сочетать знание и действие, а не воздвигать непреодолимый барьер между ними, чему мы научились со времен Декарта и Канта. Впрочем, можно утверждать, что все эти коннотации более выражены у *virtù*, чем у *prudentia*, поскольку классическое понятие все еще предполагает присутствие стоицистской онтологии, которой была пропитана римская политическая мысль. В Италии эпохи Возрождения *virtù* взрастала как раз на отсутствии такого порядка и четком

¹⁴ *Prudentia* (лат.) — благоразумие, рассудительность. — Примеч. пер.

¹⁵ *Ars vivendi* (лат.) — искусство жизни. — Примеч. пер.

¹⁶ *Urteilkraft* (нем.) — рассудок. — Примеч. пер.

¹⁷ *Kinneging A. Aristocracy, Antiquity and History. An Essay on Classicism in Political Thought. The Hague, 1994. P. 187.*

понимании необходимости создать его почти *ex nihilo*¹⁸. Следовательно, *prudentia* указывает на то, что могло бы способствовать восстановлению (стоицистского) порядка, который утрачен или может быть утрачен; *virtù* же выражает догадку, что политика представляет собой по существу созидание нового, подобно тому как мы можем верно оценить произведение искусства только в том случае, если задумаемся о его новизне.

Современная дисциплина, которая ближе всех других подходит к интеллектуальному миру *prudentia* и *virtù*, — не политология, как можно было бы подумать, а история. В книге «Идея государственного интереса в новой истории» (*Die Idee der Statsräson in der neuren Geschichte*, 1924), которая до сих пор остается одним из самых блестящих исследований в области интеллектуальной истории, написанных в XX веке, Фридрих Мейнеке показал, что есть прямая связь между миром *virtù* и *raison d'état*¹⁹ и миром историописания. Оба они отвергают ясный и прозрачный мир морального суждения, оба признают вездесущие непреднамеренные последствия всякого человеческого действия: ведь первый отрицает связь между нравственными интенциями и благими последствиями, которых ожидают от их осуществления, а во втором предмет исторического сочинения можно почти полностью отождествить с областью непреднамеренных последствий²⁰. Мы можем заключить отсюда, что содержательная политическая философия будет иметь больше общего с целями и методами истории, нежели этики, политологии или любой другой дисциплины, пытающейся поймать политическую реальность рационально сконструированной концептуальной сетью. По-настоящему содержательная политическая философия находит выражение не в самонадеянных моральных очевидностях и не в статистике или теориях поведения политиков и электората, а в оригинальных, непредсказуемых и поразительных мыслях об исправной работе или поломках существующего политического механизма, словом, в прозрениях, встречающихся обычно в лучших трудах историков. Содержательная политическая философия не представляет собой и результата непрерывного уточнения предыдущих прозрений (что происходит, например, в науке), поскольку в каком-то смысле каждое настоящее прозрение оказывается здесь по существу новым началом. Уточнение этих прозрений всегда быстро подпадает под действие закона уменьшения доходов. Или, хуже того, такое уточнение может приводить к распаду политического прозрения на множество бессмысленных фрагментов.

¹⁸ *Ex nihilo* (лат.) — из ничего. — Примеч. пер.

¹⁹ *Raison d'état* (фр.) — государственный интерес. — Примеч. пер.

²⁰ Таков мой аргумент в книге «История и тропология» (*Ankersmit F.R. History and Tropology*. Berkeley, 1994. Chap. 3 [Анкерсмит Ф.Р. История и тропология. Взлет и падение метафоры. М., 2009. Гл. 3]).

Когда я говорю, что лучшими примерами такого рода прозрений служат исторические труды, я не имею в виду, конечно, что мы не можем найти их в других областях. Напротив, прозрение, которое коренится в образе мысли, питаемом *virtù*, не знает дисциплинарных границ. Действительно, чаще всего мы сможем найти его в работах историков, например у Маркса, Буркхардта, Мейнеке и Талмона, но оно встречается и у политических теоретиков вроде Гоббса и Руссо; у юристов, таких как Боден или Монтескье; у государственных деятелей — Макиавелли, Берка, Гизо или Токвиля; у философов — Локка, Гегеля или Поппера; у социологов, таких как Вебер или Зиммель; у экономистов — Смита, Шумпетера или Фридмана; или даже у романистов вроде Стендаля, Бальзака или Оруэлла. Примерами такого рода прозрения будут мысль Токвиля о внутреннем консерватизме демократии, идея Фуко о функционировании власти в демократическом обществе снизу вверх, а не сверху вниз, идея Клода Лефора о том, что ныне мы имеем пустое место там, где раньше был очевидный центр власти, а из недавних — тезис Мишеля Альбера о различиях между англосаксонской и континентальной формами демократии.

Но все эти теоретики, независимо от их дисциплинарной принадлежности, и все высказанные ими идеи имеют нечто общее, и лучше всего оно воплощается в *историческом прозрении*. В сущности, это означает, что проницательность здесь выражается в новом, оригинальном видении самого банального, тривиального, всем известного. Проницательность здесь не означает отдаления, путем абстракции или создания более совершенной теории, от (политического или социального) мира, который мы все знаем. В действительности высшим выражением исторического прозрения и того рода прозрения, к которому прежде всего должна стремиться политическая философия, выступает новый взгляд на то, что мы хорошо знаем. Прозрение здесь (в отличие от естествознания) не означает все более глубокого проникновения в глубины знакомого. Нужны скорее талант или *virtù*, благодаря которым можно найти самую плодотворную точку зрения на большую часть нашей политической реальности и на проблемы, с которыми должна иметь дело политика.

Здесь, кроме того, мы можем отметить, что политическое (или историческое) прозрение имеет нечто общее с эстетикой. Ведь гениальность художников Рейсдала, Ватто или Сезанна заключается не в том, что они сообщают нам новые истины о деревьях, пейзажах или людях, а в том, что их картины так впечатляющи и предлагают настолько новое видение всех этих знакомых элементов нашего повседневного мира, что мы уже никогда не посмотрим на них прежним взглядом. Прозрение здесь — принадлежность наблюдателя и его отношения к (политической) реальности, не связанная с анализом этой реальности. Его место — в *репрезен-*

тации (политической) реальности, а не в попытке структурировать саму реальность посредством (социально-научной) концептуальной сети или нравственных законов. Короче говоря, политическое прозрение не принадлежит к миру фактов или ценностей, оно принадлежит к эстетике — и в этом отношении она родственна историческому прозрению. И историческое, и политическое прозрения находятся *вне факта и ценности*. Не надо забывать, что выработать такого рода прозрение — сложнейшая задача: нет ничего труднее, чем заметить очевидное, ранее ускользавшее от взгляда. Для абстрактного мышления нужен лишь рассудок; чтобы увидеть очевидное, но до сих пор не замеченное, нужна гениальность.

Подобно великому искусству, выдающиеся идеи в истории политической мысли не представляют собой очень сложные и абстрактные прозрения; их верное понимание не требует высочайшего напряжения ума. Идеи, вдохновившие французскую революцию, большинство реакций на нее или современная демократия на самом деле не суть очень глубокие идеи, они вполне доступны всем нам. В этом смысле содержательная политическая философия безусловно демократична, как демократично великое искусство, которое доступно даже неискушенным людям. И действительно, политическая философия и искусство не могут обладать интеллектуальной изощренностью идей, выработанных наукой, или даже только социальными науками, поскольку они могут быть эффективными лишь при условии, что большинство людей могут понять их, оценить и высказаться о способе их практического воплощения. Несмотря на это, однако, могут потребоваться столетия политического развития и постепенной эволюции сложной и утонченной политической ментальности, прежде чем население станет восприимчивым к ним.

Не следует видеть в этом рассуждении желание сделать политику банальной, скорее здесь содержится призыв и к политикам, и к политическим философам всегда помнить об обратном отношении между абстрактностью и действенностью политических идей. И те и другие не должны забывать, что их высшая цель — всегда находить непростой путь между конкретностью, абстрактностью и действенностью, который приведет их к сердцам и умам граждан. Несомненно, именно это имел в виду Уолтер Бэджет, написавший, что «задача состоит в том, чтобы узнать, какую высшую истину способен воспринять народ, твердить и проповедовать ее»²¹. Принятие политических решений предполагает политическое *Bildung*²² электората и без него не имеет никакого смысла.

²¹ Bagehot W. The English Constitution. Oxford, 1928. P. 180. [Цит. по изданию: Беджот В. Государственный строй Англии / пер. Е. Прейса; под ред. Н. Никольского. М., 1905. С. 232.]

²² Bildung (нем.) — образование. — Примеч. пер.

Эта книга — не первая попытка создания эстетической политической философии, выходящей за границы факта и ценности. В книге «Эстетическое государство: поиски в современной немецкой мысли» (1989) Джозеф Читри впечатляюще и компетентно описал усилия немецких теоретиков двух последних столетий, стремившихся использовать эстетику в качестве отправной точки для политической философии. Имеется, однако, одно ключевое различие между немецкой традицией эстетической политической философии, по крайней мере со времен Шиллера (как показывает Читри), и той, за которую я здесь ратую. Немецких теоретиков влекла к эстетической политической философии главным образом интуиция, подсказывающая, что в произведении искусства всегда происходит гармоническое объединение его частей. Атомизации общества, о которой Шиллер говорил уже применительно к своему времени, можно было, по его мнению, успешно противопоставить лишь побуждения к синтезу, который он считал главной характеристикой эстетического государства или общества. Только в эстетическом государстве, полагал Шиллер, могут осуществиться все способности отдельного человека, которые получают наибольшее развитие в полнейшем взаимодействии с другими людьми. И, как недавно показал Питер Дювенаге, это остается верным применительно к попыткам Юргена Хабермаса эстетизировать политику²³. Эта немецкая концепция эстетической политики, конечно, не вполне чужда катастрофическим событиям немецкой политической истории XX века.

Предлагаемая здесь эстетическая политическая философия диаметрально противоположна немецкой, поскольку эстетика используется мною для доказательства *разорванности*, а не *единства* политической сферы. Герой этого исследования — не Шиллер, а Макиавелли, поскольку последний, как будет показано в третьей главе, дал первое и по сей день самое сильное обоснование тезиса о разорванности политической реальности. Точнее говоря, если немецкая традиция обычно сосредоточивалась на единстве произведения искусства, то главной мыслью этой книги стал непреодолимый эстетический *барьер* между репрезентируемым и его репрезентацией. Разорванность, отчуждение и конфликт, которые немецкая традиция (эстетической) политической философии всегда стремилась свести на нет, рассматриваются здесь как верные признаки хорошо работающей политической машины. Поэтому в первой главе руководящим принципом выступает утверждение, что не случайно слово «репрезентация» («представление») может относиться и к эстетической, и к политической репрезентации. С опорой на этот принцип

²³ *Duvenage P.* Die estetiese heling van die instrumentale rede: 'n kritiese interpretasie van Jürgen Habermas se sosiale filosofie. Port Elizabeth, 1993. Английский перевод этой книги был опубликован в 1995 году издательством Polity Press.

отстаиваются относительная автономия репрезентации-представительства (государства) по отношению к репрезентируемому-представляемому (электорату) и разделяющий их непреодолимый эстетический зазор. Легитимная политическая власть возникает в этом зазоре, поскольку ее природа — по существу эстетическая. Во второй главе объясняется, почему на практике все мы принимаем эстетическое понимание задач, целей и легитимной деятельности государства, однако же тяготеем к антиэстетическим или стоицистским интуициям, коль скоро начинаем размышлять об отношениях между гражданином и государством. Доказывается, что всепроникающий стоицизм и антиэстетизм современной политической философии породили и поддерживали наше непонимание природы политики.

Не имея намерения преувеличивать важность философской рефлексии, я все же полагаю, что постоянный разрыв между теорией и практикой может быть небезопасен даже для политической практики. Поэтому в главах второй и третьей разъясняется значимость эстетической политической философии для верного понимания природы демократии. И доказывается, что, если многие западные демократии стали обнаруживать признаки дисфункции после распада советской империи в 1989 году, объяснение этому можно найти в недостаточном понимании эстетических моментов в правильно работающей демократии. Это не совпадение. В политике всегда существует тесная связь между внешними и внутренними делами, и, похоже, исчезновение серьезной, общепризнанной внешней угрозы привело к ослаблению сил и напряжений, которые обычно удерживают политический порядок. Когда давление исчезло, западные демократии стали напоминать тент, из-под которого быстро убрали колышки: все провисло и «моральные карты»²⁴ политиков и граждан сегодня настолько спутались, что уже невозможно определить политические цели и приоритеты, а видение будущего редко простирается далее ближайших выборов. В такие времена ошибочные или обманчивые представления об отношениях между государством и гражданином начинают оказывать более сильное воздействие на природу политической реальности, чем во времена, когда политические проблемы таковы, что детали политического механизма продолжают двигаться, даже если мы сами (или политические философы) их не замечаем. С исчезновением давления политический механизм начинает приспособляться к нашим представлениям о его природе. И тогда непонимание может стать по-настоящему опасным. Как раз в антикризис-

²⁴ См. об этом понятии в последнем разделе гл. IV. Этим может объясняться также, почему при одинаковых обстоятельствах можно ожидать более высокого уровня коррупции в больших странах (в случае утраты внешнего врага), нежели в малых.

се, так сказать, нашего времени надо научиться видеть его подлинный кризис. Вот почему победа Запада в холодной войне вызвала парадоксальный побочный эффект, обнаружив не сильные стороны, а слабость наших современных демократических обществ.

В репрезентации мы можем выделить три элемента: репрезентируемую реальность, процесс репрезентации и саму репрезентацию. И если три начальных главы сфокусированы на двух первых моментах, то предметом исследования в трех последних главах становится третий из них. Точнее говоря, посылка заключается в том, что политическая философия обычно имеет характер *репрезентации* политической реальности. Это заставляет нас спросить, в каком смысле природа этой репрезентации политической реальности оказывается результатом ее формальных качеств или, по крайней мере частично, определяется ими. Или, если сформулировать вопрос так, как это делает Хейден Уайт, каково *содержание формы* репрезентации реальности в политической философии? Если следовать подсказкам Уайта, на этот вопрос можно ответить главным образом путем исследования того, как несколько тропов структурируют текст политического философа. Глава четвертая посвящена иронии, а в главе пятой рассматривается, почему метафора — предпочтительный троп политической философии и почему мы можем сомневаться в этой ее роли. Глава шестая содержит подробное исследование исторических и политических сочинений Токвиля, и мы заключаем, что так называемую возвышенность демократии можно понять лишь в том случае, если в качестве тропа, наиболее пригодного для политической философии демократии, мы выбираем парадокс.

В заключении содержится призыв снова поставить государство в центр политической философии. Без государства — и без философски проработанного понимания природы демократического государства — мы никогда не сможем решить те многочисленные и серьезные политические проблемы, с которыми столкнемся в ближайшем тысячелетии или даже раньше.

I. Политическая репрезентация: эстетическое государство

Вплоть до настоящего времени все мысли о политике, государстве и обществе вращались вблизи нормы или факта. Естественное право XVII–XVIII веков было нормативным, а современная политическая философия была таковой с момента ее недавнего возрождения в работах Ролза и Нозика. Политическая теория XIX–XX столетий черпала вдохновение главным образом в истории и социальных науках: исторические, социологические, экономические и политические факты об эволюции государства и общества считались единственным надежным основанием всякой содержательной политической мысли. Я не хочу сказать, что переход от философии естественного права к фактицистской политической теории XIX–XX веков правильно было бы охарактеризовать как смену сферы норм сферой исторических, социологических или политических фактов. В истории и иных социальных науках зазор между нормой и фактом никогда не был очень большим — по крайней мере, он не был настолько большим, каким его хотели бы видеть некоторые последователи Вебера или логических позитивистов. С одной стороны, теоретики естественного права часто надеялись вывести его нормы из фактов, которые, как они полагали, можно установить касательно природы человека или гипотетического естественного общества. С другой же стороны, многочисленные выводы социологов, политологов и других ученых оказались *ценностями*, а не истинами о фактах. А возвращение к нормативной политической философии в работах таких теоретиков, как Ролз, Дворкин и Акерман, родственно определенным теориям рационального выбора, которые разрабатывались прежде всего экономистами и политологами.

Таким образом, «Что есть?» и «Что должно быть?» — таковы два вопроса, определявших точки зрения, с которых рассматривались политика, государство и общество. Традиционно, однако, третья сфера, далекая от вопроса о том, что *есть* и что *должно быть*, относится к философии; здесь я имею в виду эстетику и вопрос о красоте и эстетической репрезентации реальности. Эстетику редко рассматривали как подходящего партнера для политической философии. Тем не менее есть по крайней мере одно выдающееся исключение из этого правила — Фридрих Шил-

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

лер¹. Шиллер считал недостатком кантовской системы то, что эстетика, тема третьей «Критики...», не получила в ней главного места. Она заслуживала этого места, по мнению Шиллера, на основании взаимоположения трех «Критик...». Поэтому он хотел поставить эстетику над этикой, чтобы эстетизировать политическую философию. Шиллер был слишком погружен в кантовскую систему, и он не мог соответствующим образом исправить Канта в своих «Письмах об эстетическом воспитании человека» (*Über die ästhetische Erziehung des Menschen*, 1795). Шиллер провел различие между так называемым динамическим государством, в котором мы все еще живем «среди страшного царства сил»; этическим государством, в котором человек существует «посреди священного царства законов»²; и, наконец, эстетическим государством — высшим из трех. Оказывается, однако, что эстетическое государство лишь *мотивирует* нас подчиниться этическому закону, тому, что требует от нас Tugend³. Следовательно, определение эстетического государства по существу не отличается от определения этического государства. Эстетика дает нам аргумент в пользу этического поведения, но оставляет природу последнего без рассмотрения. Поэтому можно сказать, что даже эстетическое государство у Шиллера на самом деле не выходит за четко очерченные границы, установленные кантовской этикой. Ведь в том, что касается самого нравственного закона, Шиллер остался верен Канту. В сущности, Шиллер не мог пойти и не пошел дальше следующего утверждения: эстетика, хороший вкус «дает характеру правильную нравственную ориентацию, поскольку она устраняет наклонности, которые могли бы воспрепятствовать последней, пробуждая при этом наклонности, которые ей благоприятствуют [gibt also dem Gemüt eine für die Tugend zweckmäßige Stimmung, weil er die Neigungen entfernt die sie hindern, und diejenigen erweckt, die ihr günstig sind]»⁴.

Далее я хотел бы более последовательно, чем Шиллер, показать необходимость замены этики эстетикой в качестве партнера и источника вдохновения для политической философии. В связи с этим сразу возникает тема политической репрезентации. Ведь мы говорим, что худож-

¹ Джозеф Читри исследует немецкую традицию эстетической политической философии начиная с XVIII века (см.: *Chytry J. The Aesthetic State: A Quest in Modern German Thought*. Berkeley, 1989). Шиллер — центральная фигура в его работе. В заключении к этой главе я высказываю возражение против традиции, описываемой Читри.

² *Schiller F. Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Reihe von Briefen) // Schillers sämtliche Werke*. Stuttgart, [s. a.]. Bd. 12. S. 86.

³ Tugend (нем.) — добродетель, достоинство. — *Примеч. пер.*

⁴ *Schiller F. Über den moralischen Nutzen ästhetischer Sitten // Schillers sämtliche Werke*. Stuttgart, [s. a.]. Bd. 12. S. 188.

ник репрезентирует реальность в произведении искусства, и природа эстетической репрезентации реальности всегда была важной темой споров между эстетиками. Даже с первого взгляда мы можем установить несколько очевидных параллелей между политической репрезентацией и художественной — конечно, если мы имеем в виду их отношение к факту и норме. Ни одна из них не побуждает ни к эмпирическому подходу, ориентированному на факты, ни к этическому. Как отмечали разные авторы начиная с Гизо, вопрос о том, представляет ли государство свой народ, есть вопрос вкуса, ощущения самих представляемых, точно так же как и вопрос о том, верно ли произведение искусства репрезентирует реальность⁵. Точнее говоря, в обоих случаях правильность репрезентации всегда остается предметом споров и никогда не может быть объективно установлена в том смысле, в каком мы можем определить фактическую истинность суждения. И в том и в другом случае спор о правильности репрезентации представляется более важным — представляется более необходимым условием эстетического и политического успеха, — нежели согласие относительно «правильной» репрезентации, будь то политическая или художественная. Есть внутренняя связь между эстетикой, с одной стороны, и спорами, которые в принципе неразрешимы, — с другой. И с этой точки зрения нормативный подход приходится считать еще менее удовлетворительным: на практике нормы будут означать попытку устранить нынешние и будущие споры о репрезентации, основываясь на предполагаемых этических достоверностях. И то же самое происходит в искусстве: вопрос о том, как художник должен репрезентировать реальность, — если мы считаем этот вопрос осмысленным, — сразу распознается нами как эстетический и формулируется как таковой. Представляется, следовательно, что и в эстетической, и в политической репрезентациях значимость нормативного, или этического, измерения сразу сводится на нет эстетическим измерением. А поскольку репрезентацию вполне можно считать ядром политики, ибо всякая политика предполагает самосознание политического коллектива, парадигматической формой которого выступает (политическая) репрезентация, это означает, что мы должны признать первенство эстетического подхода к политике над этическим подходом.

Я начну свою аргументацию с нескольких терминологических соглашений о том, что я имею в виду под политической репрезентацией, краткий обзор спора о которой представлю далее. Затем я попытаюсь решить проблемы, возникшие в этом споре. Для этого политическая репрезентация (что, возможно, ясно из предыдущего) будет истолкована

⁵ Guizot F. Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe. Paris, 1851. Vol. 2. P. 82, 83. См. также: Grazia A. de. Representation: Theory // International Encyclopedia of the Social Sciences / ed. by D.L. Sills. N.Y., 1968. Vol. 13. P. 462.

в эстетическом ключе. Наконец, я упомяну наиболее значимые последствия признания важнейшей роли эстетической политической репрезентации.

1. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

«Теория демократии мало выиграет, если заговорит на языке репрезентации, — писал Г.Б. Майо. — Нет нужды запутывать демократическую политику теорией, которая создает трудности метафизического или логического характера в самом понятии репрезентации»⁶. Понятие политической репрезентации, несомненно, кажется смутным, и оно, безусловно, таково, если мы, как и Майо, привыкли говорить на языке фактов и норм. Действительно, когда дело доходит до значения этого понятия, мнения сильно расходятся и трудно привести репрезентативные примеры его употребления.

В этой связи важно, что репрезентация (представительство) относительно индифферентна к различным политическим системам, которые человечество узнало или изобрело в ходе своей истории. Можно утверждать, что египетские фараоны представляли свой народ в контактах с другими правителями и странами и что советское правительство хотя бы до некоторой степени выступало от имени русского народа до своего окончательного краха. Однако такое положение дел не стоит интерпретировать как замаскированное оправдание репрезентативистского позитивизма, который считал бы репрезентацию чем-то само собой разумеющимся всякий раз и при любых обстоятельствах, когда кто-то захотел бы употребить этот термин. Позитивистское предложение говорить о репрезентации при условии признания некоего политического порядка на деле оказалось бы таким же странным, как и предложение художника совершенно спокойно воспринимать любой стиль, будь то прошлый или настоящий, включая его собственный. Есть разница между вышеупомянутой неразрешимостью и безразличным принятием всех возможных вариантов. Как мы уже говорили, спор — вот что отделяет неразрешимость от принятия. И примерно то же верно для нормативной альтернативы. Какой художник стал бы серьезно требовать, чтобы его стиль или художественная интуиция отныне считались нормой для всякого будущего художника? Независимость репрезентации от мира фактов и норм, несомненно, объясняет ее присутствие в разных конкретных политических институтах, которое отметили некоторые исследователи⁷. Именно этот факт о понятии репрезентации и делает его — в несколько

⁶ *Mayo H.B.* An Introduction to Democratic Theory. N.Y., 1960. P. 103.

⁷ *Pitkin H.F.* The Concept of Representation. Berkeley, 1967. P. 2; *Grazia A. de.* Representation: Theory. P. 463.

ином смысле, нежели полагал Майо, но, что парадоксально, на основании тех же соображений — столь полезным понятием для политической философии. Все можно сказать и выразить с его помощью, причем язык репрезентации не принуждает нас принимать какое-то конкретное содержание. Репрезентация — пожалуй, наиболее нейтральное понятие в политической философии, и именно по этой причине оно играет важнейшую роль в этой дисциплине.

Тем не менее я буду рассматривать политическую репрезентацию исключительно с точки зрения, ставшей обычной с начала XVIII века. С этого времени проблема репрезентации, вообще говоря, связана с вопросом о том, когда и при каких обстоятельствах правительство, а именно его состав и принятие решений, есть отражение духа народа. Поэтому понятие репрезентации начиная с XVIII века ассоциируется, в частности, с тем, что мы стали понимать под демократией или демократическим правлением с согласия (народа).

Соответственно, далее под представляемым лицом я буду иметь в виду индивидуального избирателя, а под представителем — индивидуального представителя народа. Кроме того, я буду исходить из того, что представительство (репрезентация) всегда частично, то есть некто бывает представлен, поскольку он гражданин определенной страны или принадлежит к группе внутри определенной нации, или хочет продвинуть определенные интересы, или придерживается конкретных политических идей и т.д. Я имею в виду, что представляемое лицо никогда не представляется *in toto*⁸. Репрезентация (представительство) всегда касается лишь одной стороны представляемого лица. Следовательно, я присоединяюсь к распространенному мнению, что могут быть представлены только люди, а не абстракции, такие как «Разум» (Гизо)⁹, «трансцендентная истина» (Фегелин)¹⁰ или, если взять несколько более прозаических примеров, партийные манифесты, интересы или политические идеалы¹¹. Ведь здесь можно заметить зна-

⁸ *In toto* (лат.) — полностью, в целом. — Примеч. пер.

⁹ Guizot F. Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe. Paris, 1851. Vol. 2. P. 94 ff. См. также шестую лекцию (sixième leçon) в первом томе этой книги Гизо.

¹⁰ Таков лейтмотив работы Фегелина: Voegelin E. The New Science of Politics. Chicago, 1952.

¹¹ Dazu kommt, dass die soziale Repräsentation durchweg Inhalt von Kollektivvorstellungen ist, die nie über sich selbst hinaus bis zu philosophischen Abstraktionen ('Ideen an sich') gelangen können. Das im Repräsentanten verkörpert Gedachte (z.B. die 'Gerechtigkeit') bleibt stets blosser Gegenstand von Vorstellungen, wird nicht Gegenstand 'reiner Erkenntnis,' ist notwendig empirisch und kann nicht apriorisch sein oder werden, auch wenn der Inhalt der Vorstellung mit dem einer Erkenntnis vollkommen übereinstimmt. Personell repräsentierbar

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

чительную асимметрию. Если индивидуальный избиратель получает лишь частичное представительство, например в качестве гражданина страны, это само по себе еще не представляет достаточного повода для сомнения или тревоги, поскольку все мы признаем, что индивид всегда есть нечто большее, чем просто гражданин определенной страны. То, что мы получаем лишь частичное представительство, можно даже считать отражением того факта, что индивид всегда шире своей политической категории; а значит, факт частичной представленности можно рассматривать как еще одну гарантию (негативной) свободы индивида. Индивид никогда не политизируется полностью, по крайней мере в либеральных представительных демократиях. Однако лишь частичное представление, скажем, интереса или политической идеи не может рассматриваться иначе, нежели как неадекватное представление этого интереса или идеи. Это не означает, что нам не должно быть позволено говорить о представлении интересов или идей. Это лишь означает, что мы должны делать это косвенно, то есть через отдельных людей. Так, представленный интерес лица можно было бы определить как политическое желание (или желания), которое это лицо имеет или обретет, если оно включит в желание все данные, значимые для него на протяжении достаточно длительного времени. В этом смысле можно установить связь между абстракциями, такими как интересы и политические идеи, с одной стороны, и желаниями индивидуального избирателя, с другой. Таким обходным путем ни одна политическая идея и ни одно желание избирателя в принципе не лишаются возможности быть политически представленными.

Если мы признаем, что могут быть представлены только избиратели, а не интересы, идеи и т.д., это приводит также, как ни удивительно, к обязательству принять всеобщее избирательное право. Единственный аргумент против всеобщего избирательного права, имеющий некоторый шанс на успех, заключается в том, что интересы лиц, не имеющих права голоса, на самом деле могут быть учтены, даже если они не вправе голосовать (в этом случае часто используется термин «виртуальное

ist nur, was personifizierbar ist («К тому же социальная репрезентация целиком и полностью остается содержанием коллективных представлений, которые сами по себе никогда не могут достигнуть уровня философских абстракций (“идей в себе”). Воплощенная в представителях идея (например, “справедливость”) всегда остается просто предметом представлений, не становясь предметом “чистого познания”, является по необходимости эмпирической и не может быть или стать априорной, даже когда содержание представления полностью согласуется с содержанием познания. Лично репрезентируемо только то, что персонифицируемо»); см.: *Wolff H.J. Die Repräsentation // Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation / Hrsg. von H. Rausch. Darmstadt, 1968. S. 154.*

представление»)¹². Отрицание возможности представления интересов (которое отстаивает, например, Эдмунд Берк) в результате вынуждает нас к принятию всеобщего избирательного права.

Кроме того, часто требуется, особенно в немецкой литературе о представительстве, третья сторона, помимо представляемого лица и представителя: организация, перед которой или по отношению к которой представитель выступает от имени репрезентируемого лица. Ханс Вольф, в частности, оставляет разные возможности для этого «адресата» (как обычно называют эту третью организацию): «Эта третья сторона — не обязательно индивидуальное лицо или определенная группа лиц, ведь она может быть неопределенной общностью, такой, например, как все современное или будущее человечество. Она может быть рассеянным во времени и пространстве любым коллективом, компетентным и имеющим продуманное мнение. Она может быть даже “общественным мнением” или единичным историком и его читателями, пишущими и читающими в более позднюю эпоху» (Dieser “Dritte” kann nicht etwa nur ein Einzelner, können nicht nur bestimmte Einzelne oder bestimmte Gruppen, sondern kann auch eine unbestimmte Vielheit, die gesamte Mitwelt oder Nachwelt und jede andere in Zeit und Raum verstreute urteilsfähige Menge, kann die “öffentliche Meinung” oder sogar nur ein einzelner rückschauender Forscher und seine Leser oder Hörer sein)¹³. В этом утверждении о необходимости третьей стороны слышатся отзвуки Средних веков, когда представитель выступал от имени репрезентируемого лица перед монархом. В такой ситуации, как и в упомянутых Вольфом, речь действительно идет о представлении не столько *правительством*, сколько *перед* правительством. В связи с тем, что в наши дни представление обычно рассматривается как представление кем-то или чем-то, есть все основания для устранения этой третьей организации из феномена репрезентации¹⁴.

¹² Термин принадлежит Берку. См. его обсуждение: *Pitkin H.F. The Concept of Representation*. P. 171–180. С продуманной социалистической точки зрения Коул отстаивал также представление интересов, см.: *Cole G.D.H. Social Theory*. L., 1920. P. 104. См. обсуждение проблем, возникающих из представления интересов: *Pennock J.R. Democratic Political Theory*. Princeton, 1979. P. 352 ff.

¹³ *Wolff H.J. Die Repräsentation*. S. 197. Керген пишет: Für die konstitutionelle Staatstheorie galt ein Adressat als Wesensmerkmal jeder Repräsentation («Для конституционной теории государства адресат имел значение существенного признака всякой репрезентации»), см.: *Köttgen A. Das Wesen der Repräsentation // Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation / Hrsg. von H. Rausch*. S. 80. См. также: *Pitkin H. F. The Concept of Representation*. P. 105 ff.

¹⁴ *Sartori G. Representational Systems // International Encyclopedia of the Social Sciences / ed. by D. L. Sills*. N.Y., 1968. Vol. 13. P. 467. См. также: *Diggs B.J. Practical Representation // Representation / ed. by J.R. Pennock, J.W. Chapman*. N.Y., 1968. P. 36; *Mansfield H.C., Jr. Modern and Medieval Representation // Ibid.* P. 78.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Поэтому всякий раз, когда мы говорим о представлении правительством, мы не делаем различия между представителем народа, законодателем и правительством в собственном смысле слова. Интересно, что эти различия не слишком значимы с точки зрения представительства и поэтому редко проводятся в работах с данным объектом рассмотрения. Более того, поскольку приведенные различия не очень важны в этом контексте, некоторые теоретики стали рассматривать и государственных служащих, которые были назначены исполнительной властью, как представителей в собственном смысле слова. Сартори выступает против этого стремления к распространению термина «представление» на все правительство, утверждая, что представители всегда избираются, а не назначаются, и что по этой причине такое расширение понятия представительства недопустимо¹⁵. Однако правильно говорить, что посол представляет страну, хотя этот чиновник назначается, а не избирается. В большей или меньшей степени этот довод применим к судье или полицейскому, когда они исполняют свои обязанности. Мы можем заключить, что непросто определить, где заканчивается сфера представителя и начинается сфера его исполнителей. Но в современной теории представительства наблюдается тенденция считать государство в целом представителем всей совокупности его граждан. Таким образом можно предотвратить нежелательную ситуацию, при которой части правительства теоретически могут избежать политической ответственности, хотя по практическим причинам она может не возлагаться на отдельных государственных служащих и ограничиваться только лицами, избранными электоратом.

Наконец, понятно, что проблемы, связанные с представлением, усложняются из-за формирования партий внутри представительной организации. Тем не менее в дальнейшем я не буду касаться образования партий, поскольку с точки зрения представительства оно есть решение практической проблемы, а не теоретической. Здесь я имею в виду практическую проблему, заключающуюся в том, что представительная организация без партий настолько склонна отвергать предложения, вместо того чтобы принимать их, что в результате она обрекает себя на бессилие¹⁶. Партии служат преимущественно практической цели создания работоспособного большинства в парламенте. Впрочем, надо признать, что в связи с политическими партиями, безусловно, могут возникать и теоретические проблемы. Например, представлен ли электорат парламентом в целом, имеющимися в нем партиями или отдельными членами партий? Но этот вопрос можно

¹⁵ Sartori G. Representational Systems // International Encyclopedia of the Social Sciences. P. 467.

¹⁶ Prins J.H. Over representatie en identiteit. Deventer, 1978. P. 5 ff.

решить, лишь учитывая различные избирательные системы, принятые в разных странах. Это потребовало бы от меня отказа от теоретического уровня обсуждения. Более существенная трудность связана с тем, что ответ на этот вопрос зависит от точки зрения спрашивающего: несомненно, гражданин иностранного государства скажет, что парламент другой страны представляет ее электорат, тогда как избиратель в этой стране чувствует, что его представляет некая партия в парламенте, а не парламент в целом. Тем не менее эта глава завершается кратким экскурсом о политических партиях главным образом из-за роли, которая будет отведена им в заключительной части этого исследования.

2. СПОР О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

В споре о репрезентации отстаиваются две противоположных позиции. Согласно позиции, которую я буду называть *миметической* теорией репрезентации, репрезентация народа должна отражать представляемый народ настолько возможно точно. По словам Джона Адамса, репрезентация «должна быть точным портретом в миниатюре всего народа, поскольку представитель народа должен думать, чувствовать, аргументировать и действовать подобно народу»¹⁷. С точки зрения миметической теории репрезентации *тождество* представителя и представляемого лица составляет, естественно, идеал всякой политической репрезентации¹⁸. Ее противоположностью выступает, как я ее называю (по причинам, которые прояснятся с развитием моих аргументов), *эстетическая* теория репрезентации. Согласно этой теории различие между представителем и представляемым лицом, отсутствие их тождества неизбежны в политической репрезентации, как неизбежно и различие между портретом человека и им самим.

¹⁷ Цит. по: Pitkin H.F. The Concept of Representation. P. 60.

¹⁸ Auch bei dem wichtigsten menschlichen Verbande, dem Staate, der gleichfalls nur durch einzelne Menschen denken, wollen und handeln kann, ist ja die Repräsentation nur ein Notbefehl, bleiben also selbstverständlich und unvermeidbar, bleiben geradezu per definitionem Spannungen zwischen dem, was ideal wäre, und dem, was einzelne Menschen als die Repräsentanten wirklich leisten und überhaupt nur leisten können («Также и в наиважнейшем человеческом союзе, государстве, которое точно так же может мыслить, желать и действовать только через отдельных людей, репрезентация оказывается лишь вынужденной мерой, и в нем также сохраняются естественным и неизбежным образом, почти по определению напряжения между тем, что было бы идеалом, и тем, что отдельные люди как представители действительно могут сделать и на что они вообще могут посягать»), см.: Drath M. Die Entwicklung der Volksrepräsentation // Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation / Hrsg. von H. Rausch. S. 261.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Вообще говоря, можно утверждать, что примерно до 1800 года более правдоподобной из этих двух теорий репрезентации представлялась миметическая, впоследствии же бóльшим авторитетом стала пользоваться эстетическая теория. Руссо, можно сказать, обеспечивает нам переход от более ранней теории к позднейшей. С этим утверждением, однако, сам Руссо решительно не согласился бы. Со свойственным ему безжалостным радикализмом Руссо отвергал всякую репрезентацию: «Воля никак не может быть представляема; или это она, или это другая воля, среднего не бывает. Депутаты народа, следовательно, не являются и не могут являться его представителями; они лишь его уполномоченные; они ничего не могут постановлять окончательно» (*La volonté ne se représente point: elle est la-même, ou elle est autre; il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement*)¹⁹. Другими словами, репрезентация, по мнению Руссо, есть тождество представителя и представляемого лица. Понимая, что такое тождество неосуществимо, он рекомендует своим читателям отвергнуть всякую политическую репрезентацию. Так что сначала Руссо дает бескомпромиссно последовательное определение сущности миметической репрезентации; затем выступает против таким образом понимаемой репрезентации; и именно своим бескомпромиссным и радикальным отрицанием репрезентации он фактически призывает нас рассмотреть альтернативные формы (эстетической) репрезентации. Другие мыслители, такие как Сиес, которого я буду обсуждать позднее, полностью согласны с Руссо относительно невозможности тождества представителя и представляемого лица, но именно в ней они видят решающий аргумент в пользу эстетической теории репрезентации.

Это не отменяет того факта, что у миметической теории репрезентации до сих пор есть сторонники. Хотя эстетическая репрезентация отстаивалась в англосаксонском мире со времен Берка и, пожалуй, даже раньше, начиная с сочинения Алджернона Сиднея «Рассуждения о правлении» (1698), в Германии всегда, вплоть до наших дней, больше симпатизировали миметической репрезентации. Одним из наиболее значительных и влиятельных защитников миметической репрезентации был нацистский идеолог Карл Шмитт²⁰, по мнению которого, если не вдаваться в детали, в идеале имеется отношение тождества между *Führer* (представителем), с одной стороны, и народом (представляемыми людьми), с другой. Шмитт был преданным учеником Гоббса, и если мы вспомним, как Гоббс определял представителей (их «слова и действия <...> призна-

¹⁹ *Rousseau J.J. Du contrat social. Paris, 1962. P. 302. [Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Трактаты. М., 1969. С. 222.]*

²⁰ См.: *Schmitt C. Verfassungslehre. Leipzig, 1928.*

ются как свои теми, кого они представляют»²¹), отождествляя представителя и представляемое лицо, то можем смело утверждать, что Шмитт радикализировал идею Гоббса, сделав из нее довод в пользу Левиафана XX века. Отсюда можно заключить, что миметическая репрезентация на деле оказывается не такой привлекательной, какой казалась поначалу в теории. Поэтому тем более удивительно, что такой исследователь, как Герхард Лейбхольц, видный специалист по конституционному праву и в недавнем прошлом высокоуважаемый член Bundesverfassungsgericht²² (к его концепциям я вернусь в приложении к этой главе), на самом деле просто перенес миметическую теорию репрезентации Шмитта с государства на политические партии²³. Юрген Хабермас по сравнению с Лейбхольцем остался еще ближе к Шмитту в работе, которую, пожалуй, надо считать ошибкой молодости, — хотя не случайно, конечно, его былой марксизм приблизил его к теории Шмитта²⁴. Само собой разумеется, что есть огромная разница между ранними современными миметическими теориями репрезентации и нацистскими теориями. Интеллектуальная почва XX века столь разительно отличается от интеллектуальной почвы XVII–XVIII столетий, что из одних и тех же интеллектуальных семян на них вырастают совершенно разные растения²⁵.

Я хотел бы рассмотреть эти различия в интеллектуальной почве более внимательно, поскольку только такой анализ может углубить наше понимание хода спора о репрезентации. После работ Гирке, Гриффитса²⁶ и многих других исследователей едва ли кто-либо станет оспаривать, что истоки современной репрезентации надо искать в Средних веках. Эти истоки сложны и по-разному понимаются авторами. При всем желании

²¹ *Hobbes T. Leviathan. L., 1970. P. 84.* Я использую издание Everyman's Library. [*Гоббс Т. Левиафан // Избр. произв.: в 2 т. Т. 2. М., 1964. С. 186.*]

²² Bundesverfassungsgericht (нем.) — Федеральный конституционный суд. — *Примеч. пер.*

²³ Обсуждение сомнительных параллелей между Шмиттом и Лейбхольцем см. в: *Mantl W. Repräsentation und Identität. Vienna, 1975. S. 149–199.*

²⁴ Я имею в виду работу Хабермаса «Структурное изменение общечеловечности: Исследования одной категории буржуазного общества» (*Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied, 1971*).

²⁵ Тот факт, что современные тоталитарные понятия, появившиеся в XX веке, происходят, однако, из политической теории XVIII века, доказывался, как известно, Дж.Л. Талмоном, см.: *Talmon J.L. Origins of Totalitarian Democracy. L., 1952.*

²⁶ См.: *Gierke O. von. Das deutsche Genossenschaftsrecht. Bd. 1–4. Berlin, 1868–1913;* источником знаний о наследстве, доставшемся XVI столетию от Средневековья в отношении репрезентации, выступает работа Г. Гриффитса: *Griffiths G. Representative Government in Western Europe in the Sixteenth Century. Oxford, 1968.*

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

избежать рассмотрения проблем интерпретации не могу не отметить здесь один аспект средневековой концепции репрезентации. В амбициозном очерке, в котором сравниваются средневековое и современное понимание репрезентации, Харви Мансфилд пишет:

Английский король *стоял лицом* к представителям народа, поскольку он сам не был членом самого народа. Он был членом королевства. В своем частном качестве он был членом королевства, главой которого он был в своем публичном качестве; и в этом публичном качестве он представлял сообщество, включавшее короля <...>. Если сравнить человеческое тело и королевство, то король был головой или сердцем (курсив мой. — Ф. А.)²⁷.

Такова одна из причин, по которым в Средние века, как мы уже видели, репрезентация была не представлением *кем-то* (*чем-то*), а представлением *перед*. Идея здесь заключается в том, что существуют более широкие, более глубинные или более фундаментальные порядок или структура, охватывающие и представителей, и представляемых, и что всякая репрезентация имеет место на фоне этого всеохватывающего порядка или структуры. Только на фоне королевства, которое воплощает этот порядок, представитель, представляемое лицо и монарх могут исполнять свои роли. Не будь фона в виде королевства как всеохватывающего порядка, они напоминали бы путешественников, у которых нет карты и которые не могут даже встретиться друг с другом. Поэтому очень важно, что все стороны — представитель, представляемое лицо и адресат — суть функции этого всеохватывающего фона. В результате в переходе от представляемого лица к представителю нет места для появления существенно нового элемента. Этим объясняется миметическая природа средневековой репрезентации: средневековый представитель выступает делегатом своих принципалов и наличие всеохватывающего фона гарантирует, что он может исполнять эту роль.

Классический период был по своей природе враждебен идее политической репрезентации. Если связывать этот период с политическим картезианством абсолютной монархии — а такое сравнение небезосновательно, поскольку в обоих случаях суверенный создатель порядка, будь то абсолютный монарх или трансцендентальный субъект, дает форму первоначальному хаосу, — то удивительно, что политическая репрезентация вообще пережила XVII–XVIII века. (В следующих двух главах антирепрезентационизм и антиэстетизм картезианской традиции будут рассмотрены подробнее.) Картезианская эпистемология, по видимому, лишала представляемых лиц прав, которыми они еще обладали в средневековой концепции политической репрезентации. То, что политическая репрезентация пережила классический период, можно

²⁷ Mansfield H.C., Jr. *Modern and Medieval Representation*. P. 80.

объяснить, вероятно, тем характерным совпадением, что средневековая идея порядка, охватывающего одновременно и представляемое лицо, и представителя, осталась приемлемой и для следующей эпохи. Признание этой идеи оставляло место для разновидности политической репрезентации, основанной на интуитивном осознании, что и управляемый (или представляемый), и правитель (представитель) могут рассматриваться как родственные порождения этого порядка.

Это подводит к ключевому моменту моего рассуждения. Если мы хотим выяснить, что же образует связь между средневековыми и ранними современными концепциями репрезентации, давайте обратимся к стоицизму. Рационализм XVII века и теории естественного права классического периода были так тесно и интимно связаны со стоицизмом, что лучше всего будет охарактеризовать их как формы неостоицизма. Большинство важнейших понятий стоиков возвращаются в рационализме XVII–XVIII веков, и многие историки идей начиная с Дильтея доказывали, что рационализм и рационалистическую философию естественного права лучше всего рассматривать как современные версии стоицизма. Понятие стоиков, особенно интересное в этой связи, — так называемые *logoi spermatikoi*²⁸. Полагали, что *logoi spermatikoi* как начала разумности управляют и самой реальностью, и нашим мышлением об этой реальности, а тот факт, что они действуют на обоих этих уровнях, гарантирует соответствие между мыслью (или репрезентацией) и реальностью, репрезентируемой в нашей мысли. Благодаря *logoi spermatikoi* докантианский период не знал *an sich*²⁹, так что *logoi spermatikoi* обеспечивали порядок, охватывающий одновременно репрезентацию и репрезентируемое (представление и представляемое), то есть порядок, который гарантировал соответствие того и другого (чем объясняется, как станет ясно далее, также и то, почему стоицизм так и не создал интересную теорию эстетической репрезентации). Таким образом, хотя и средствами принципиально иной онтологии, средневековая концепция порядка, охватывающего представителя и представляемое лицо, неожиданно обрела свой эпистемологический аналог в неостоицизме классического периода.

В авторитетном исследовании философии Декарта Бернارد Уильямс говорит в этой связи о Декартовом «абсолютном понятии реальности», в принципе доступном для мысли, которое служит пробным камнем для всех наших репрезентаций реальности, «объектом всякого представле-

²⁸ *Logoi spermatikoi* (др.-греч.) — букв.: «семенные (осеменяющие) логосы». — Примеч. пер.

²⁹ *An sich* (нем.) — в себе; указывает на понятие философии Канта *Ding an sich* — «вещь в себе». — Примеч. пер.

ния, которое есть знание»³⁰ и арбитром в столкновении разных мнений о природе реальности. В картезианстве возникает, таким образом, *tertium comparationis*³¹, который, кроме представления и представляемого лица, обеспечивал общий для них обоих фон, функциями которого они оба выступали³². Идея *tertium comparationis* получила самое поразительное выражение в Лейбницевои понятии *harmonie préétablie* («предустановленная гармония»). Такая гармония гарантирует совершенное согласие между бесчисленными представлениями всех отдельных, не имеющих окон монад, которые образуют монадологическую вселенную Лейбница. Лейбниц выразил эту мысль в *Monadologie* («Монадологии») следующим образом: монады «сообразуются в силу гармонии, предустановленной между всеми субстанциями, так как они все суть выражения одного и того же универсума»³³. Существует один универсум, и *harmonie préétablie* обеспечивает гармонию между этим универсумом и всеми нашими правильными представлениями о нем. В общем, как, согласно концепции корреспонденции, имеется общий фон для истинного суждения и реальности, описываемой истинным суждением, фон, объясняющий и обосновывающий использование нами термина «истинный», точно так же в неостоицизме классического периода имеется всеохватывающий порядок, благодаря которому представитель и представляемое всегда могут осмысленно сравниваться друг с другом.

Несомненно, будет высказано возражение, что я играл здесь на двусмысленности слова «репрезентация» и что выше оно должно было браться в эпистемологическом, а не в политическом смысле. Однако вторая особенность Стои и неостоицизма классического периода — параллелизм, а иногда даже тождество порядка мысли и порядка практического, или этического, действия. Философию естественного права можно считать самой впечатляющей попыткой, когда-либо предпринятой в западной философии, вывести «должен» хорошего этического или политического порядка из «есть» человеческой природы или при-

³⁰ Williams B. Descartes. Harmondsworth, 1978. P. 65.

³¹ Tertium comparationis (лат.) — третий член сравнения. — Примеч. пер.

³² Для отсылки к этому понятию, существенно важному для моего рассуждения, я должен был выбрать между термином, используемым Э.Г. Гомбрихом, — *tertium comparationis* (см.: Gombrih E.H. Meditations on a Hobby Horse // Aesthetics Today / ed. by M. Philipson, P.J. Gudel. N.Y., 1980. P. 175) и термином *tertia*, употребляемым в точно таком же контексте Ричардом Рорти в работе «Прагматизм, Дэвидсон и истина», составившей главу его книги: Rorty R. Philosophical Papers: I. Objectivism, Relativism and Truth. Cambridge, Eng., 1991.

³³ Leibniz G.W. The Monadology (section 78) // Id. Philosophical Papers and Letters / ed. by L.E. Loemker. Dordrecht, 1976. P. 651. [Лейбниц Г.В. Монадология // Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1982. С. 427.]

роды общества. Помня это, мы поймем, почему в неостоицизме в рамках философии естественного права XVII–XVIII веков эпистемологическая репрезентация могла стать образцом для политической репрезентации. Но позвольте мне добавить еще одно разъяснение. Стоики требовали от людей «жить по разуму», как весьма точно сказал Диоген Лаэртский³⁴. Для стоиков, как для рационалистов и теоретиков естественного права, не было мысли, не было *theooria*, которые не имели бы прямой параллели в действии. Прочитирую Лобковича:

...но поскольку ударение делалось на практическом, *theooria* стоиков вряд ли выходила за рамки знания, нужного для *kata phusin zēn*, жизни согласно природе; это было разумное мышление, а не созерцание или «теория». В действительности, если исключить логику и изучение природы, стоики более не интересовались умопостигаемым порядком, и даже исследование природы не было для них самоцелью — они занимались им лишь постольку, поскольку оно имело значение для проживания жизни в согласии с природой³⁵.

Мимоходом хотел бы отметить тот удивительный факт, что во всех современных теориях так называемой практической философии все внимание всегда уделяется исключительно Аристотелю. Практическая философия, поскольку она подчеркивает единство мышления и действия, нигде не имеет столь твердых оснований, как в стоицизме и неостоицистских теориях естественного права классического периода.

Рационализм XVII века и естественное право классического периода тоже рассматривали этику и политику как целое, содержащее руководство для *kata phusin zēn*. Из *phusis*, то есть природы человека или гипотетического естественного состояния, можно вывести нормы для наших действий и для установления разумного общества. В принципе, этика и политическая философия — точные науки, такие же как физика, и они могут достигать той же точности, что и математика, если развивать их *more geometrico*³⁶. Даже у Канта, который во многих отношениях принадлежал уже к другому миру, мы все еще находим ясное напоминание об этой политической арифметике, о классических попытках построить политическую философию как социальную науку. Вспомним, как Кант сформулировал категорический императив в своих «Основоположениях метафизики нравов»: «Поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы» [Handle so, als ob der Maxime deiner Handlung durch deinen Wil-

³⁴ Цит. по: *Lobkowicz N. Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx. L., 1962. P. 50.*

³⁵ *Ibid. P. 51.*

³⁶ *More geometrico (лат.)* — геометрическим способом, как в геометрии. — *Примеч. пер.*

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

len zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte]³⁷. Здесь мы можем видеть, что логическая природа законов, действующих в физической реальности, этой области «есть» *par excellence*³⁸, все еще служила образцом для законов в сфере этики и политики.

Словом, для Стои и неостоицизма классического периода весьма важно было избежать введения какого бы то ни было нового элемента в переходе от мысли к действию. Параллель между репрезентацией как изображением в мышлении и политической репрезентацией как основанием для политического действия имеет, следовательно, основополагающее значение для рационализма и теорий естественного права классического периода. Политическая репрезентация, таким образом, приобрела природу парусии, политического откровения того, что по существу уже было и всегда есть в человеческой природе и природе общества или в порядке, охватывающем как индивида, так и сферу политики. Политическая репрезентация — средство, которое мы должны использовать, для того чтобы достичь этой парусии и позволить Разуму или природе вещей действительно выразить себя³⁹.

Это означало, что политическая репрезентация была, во-первых, необходимой, во-вторых — статичной, а в-третьих — миметической. Политическая репрезентация необходима как единственный инструмент для осуществления парусии политической истины. Она статична, поскольку нацелена на представление статичного естественного порядка. Ранее 1800 года политическая репрезентация была направлена больше на конституционное право и конституционные вопросы, нежели на повседневные политические проблемы, к которым по этой причине политическая философия до XIX века не питала ни малейшего интереса. Репрезентация находит выражение в конституционной форме государства, а не в политических решениях, принимаемых государством. Она миметична, поскольку и здесь, как в Средние века, представитель и представляемое лицо принадлежат к порядку, охватывающему

³⁷ Kant I. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* / Hrsg. T. Valentiner. Stuttgart: Reclam, 1970. S. 68. [Кант И. Основоположения метафизики нравов // Собр. соч. в 8 т. Т. 4. М., 1994. С. 196.]

³⁸ *Par excellence* (фр.) — по преимуществу. — *Примеч. пер.*

³⁹ Эта терминология еще используется Гизо: *Il s'agit de découvrir tous les éléments du pouvoir légitime disséminés dans la société* [то есть воспоминание о *logoi spermatikoi* пробуждается здесь благодаря термину *disséminés*, «рассеянные». — Ф. А.], et de les organiser en pouvoir de fait <...>. Ce qu'on appelle la représentation n'est autre chose que le moyen d'arriver à ce résultat [«Требуется обнаружить все элементы законной власти, рассеянные в обществе, и организовать их в действительную власть <...>. То, что называют представлением, есть не что иное, как средство достижения этого результата»], см.: Guizot F. *Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe*. Paris, 1851. P. 95.

их обоих, в соответствии с которым они оба действуют. В рамках этого порядка они сравнимы друг с другом — или соизмеримы, если воспользоваться наиболее подходящим здесь словом, — и сводимы друг к другу. Короче говоря, благодаря этому общему фону можно в рассуждении переходить от представляемого лица к представителю, нигде не сталкиваясь с существенно новым элементом.

Причины признания некоего всеохватывающего порядка (будь то средневековое королевство, частью которого выступают и король, и его подданные, или стоицистский порядок философии естественного права) выше были рассмотрены довольно подробно, и должно быть ясно, что такой порядок как исходная посылка (спорная, как мы вскоре увидим) всегда был условием миметических теорий репрезентации и всегда будет приводить к ним. Понимается ли этот всеохватывающий порядок так, как понимался в Средние века или в классический период, или даже просто постулируется, как в современной политической науке, в качестве общего фона для представителя и представляемого лица, — независимо от всего этого мы всегда имеем дело с посылкой о наличии некоего всеобщего фона. Он служит *tertium comparationis*, благодаря которому все можно содержательно сравнивать со всем другим и в рамках которого в рассуждении можно благополучно переходить от одного к другому. Нам очень трудно пожелать всего хорошего такому миметическому понятию. Это очевидно из того факта, что на практике мы все с готовностью принимаем эстетическую теорию репрезентации (которую обсудим ниже) и не испытываем неудобства, рассматривая представителя как доверенное лицо, а не как делегата. Но едва мы начинаем размышлять о репрезентации, как сразу возвращаемся к какому-то варианту *tertia*, «третьих», общих для представителя и представляемого лица, благодаря которым оба они делаются сравнимыми или соизмеримыми. Мы не сможем избежать искушения этих *tertia comparationis*, пока не научимся узнавать в них то, что они такое на самом деле.

В период с 1800-х годов и до наших дней эта всеохватывающая реальность постепенно распадалась почти во всех отношениях, какие только можно помыслить. Критическая философия Канта сделала разрыв между мышлением и реальностью *an sich* совершенно непреодолимым. После Юма и Канта симбиоз факта и нормы, *Sein* и *Sollen*, распался. После Гегеля и спекулятивной философии истории XVIII–XIX веков мы узнали о непреднамеренных последствиях целенаправленных человеческих действий⁴⁰. Соответственно, политический порядок, в котором мы стал-

⁴⁰ Hegel G.W.F. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Hamburg, 1970. Bd. 1. Die Vernunft in der Geschichte. S. 88. [Гегель Г.В.Ф. Философия истории. СПб., 1993. С. 79–80.]

живаемся с этими непреднамеренными последствиями, получил независимость от этики. История и социальные науки стали трактовать социальную реальность так, как если бы она была объектом, который можно показать интересующемуся внешнему наблюдателю, и это предполагало разрыв между объектом и субъектом, немислимый в классической концепции порядка. Утилитаризм ввел элемент субъективности, и в результате, сокрушался Макинтайр в книге «После добродетели», этот порядок раскололся на отдельных индивидов. Все это достигло кульминации в наши дни, когда стали устранять последние остатки понятия всеохватывающего порядка и всех *tertia comparationis* — остатки, которые, раз уж они сохранились, были, видимо, его самыми существенными частями⁴¹. Радостное приветствие, которым встретили фрагментацию современные постмодернисты, нанесло смертельный удар последним стоицистским реминисценциям, еще сохранившимся в философии и культуре конца XX века.

Это развитие после 1800 года имело последствия для теорий репрезентации. Я упомяну четыре наиболее важных из них. Во-первых, мышление и действие уже не образуют единства, которое они составляли до 1800 года. По крайней мере, это единство уже не может постулироваться *a priori*, о нем надо повествовать каждый раз отдельно *a posteriori*. То, что мы связываем с *tertia*, есть *terminus ad quem*, которого надо достигать путем организации знания (нарративной), а уже

⁴¹ Уильямс предлагает следующий аргумент против декартовской потребности в абсолютном понятии реальности, которое выступает *ergo tertium comparationis*. Если мы хотим составить мнение о правильности конкретной репрезентации R реальности W, нам надо будет сформировать для себя репрезентацию R' той части реальности W', в которой объективируется отношение между R и W. И мы можем продолжить эту процедуру. В сущности, единственный способ остановить этот бесконечный регресс — постулировать абсолютное понятие реальности. В этом случае, однако, верно, что «у нас может быть некоторая определенная картина мира, какой он есть независимо от какого-либо знания или репрезентации в мысли; но тогда можно подумать, что такая картина дает лишь одну конкретную репрезентацию реальности, нашу репрезентацию, и что у нас нет независимой точки опоры для возведения ее в абсолютную репрезентацию реальности»; см.: *Williams B. Descartes. Harmondsworth, 1978. P. 65.* Рорти предлагает похожий аргумент против *tertia*, которые, как говорится, охватывают репрезентацию и то, что репрезентируется; см.: *Rorty R. Pragmatism, Davidson and Truth // Id. Philosophical Papers. I. Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge, Eng., 1991. P. 133, 139.*

Эти концепции раннего Нового времени постоянно обнаруживаются сегодня в попытках, в частности немцев, разработать практическую философию. Такие практические философы опять же стремятся к единству действия и мысли, в котором последняя принимает форму практической рациональности. Однако ностальгия — плохой советчик в философии.

не *terminus a quo*⁴². Из-за утраты этого единства были созданы также отдельные теории, посвященные репрезентации мыслей представляемого лица и репрезентации его действий. Если взять, например, книгу Питкин, которая и через 30 лет после выхода остается лучшей работой о политической репрезентации, поражает, до какой степени и в ней две этих теории становятся независимыми друг от друга⁴³. Репрезентация есть, во-первых, репрезентация мыслей и мнений представляемого лица, а во-вторых — репрезентация его действий, но отношение между ними, как ни странно, остается непроясненным, словно мы имеем дело с существом, чьи мысли и действия принадлежат разным мирам. Миметическая репрезентация, помимо ее вышеупомянутой родственности картезианскому рационализму, видимо, обладает и странным избирательным сродством с картезианским дуализмом, поскольку этот дуализм уходит от проблемы связи мысли и действия. В общем, можно сказать, что в случае представителя на первый план выступает момент действия (обычно только представители способны перевести политические идеи и предложения в политическое действие), тогда как момент мышления, мнения обычно ассоциируется главным образом с представляемым лицом. Государство, политическое тело становится, таким образом, своего рода перевернутым человеческим телом, поскольку тело здесь мыслит, а голова (или ум) действует. Многие проблемы (миметической) политической репрезентации можно выявить и выразить на языке этой парадоксальной метафоры.

Только в революционной ситуации мысль и действие временно воссоединяются, и только во время революции парадоксы стоицистской, миметической репрезентации по-настоящему отменяются. Поэтому не удивительно, что конец царствования (нео)стоицизма был ознаменован периодом революций. Как бы то ни было, отсутствие мнения об отношении между мыслью и действием, которое можно наблюдать в современных теориях репрезентации, предполагает, что невозможно составить

⁴² [Terminus ad quem (*лат.*) — цель, конечная точка, конечный термин; terminus a quo (*лат.*) — отправной термин, начальная точка. — *Примеч. пер.*] В другой работе я доказывал, что нарратив и метафора дают нам *trait d'union* [связующее звено (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*] между «есть» и «должно». См.: *Ankersmit F.R. History and Topology. Berkeley, 1994. Чаp. 2. [Анкерсмит Ф.Р. История и тропология. Взлет и падение метафоры. М., 2009. Гл. 2.]*

⁴³ В главах четвертой и пятой она рассматривает репрезентацию мыслей и мнений, а в главах шестой и седьмой — репрезентацию действий. В связи с этим см. также разъясняющий спор между Диггсом и Питкин об образной репрезентации (мысли) в сопоставлении с практической репрезентацией (действия): *Diggs B.J. Practical Representation // Representation / ed. by J.R. Pennock, J.W. Chapman; см. также ответ Питкин под заглавием «Комментарий: парадокс репрезентации» (Commentary: The Paradox of Representation)* в этом же сборнике.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

мнение об отношении между представителем (действием) и представляемым лицом (мыслью), но это отношение как раз должно быть главным предметом спора о природе политической репрезентации. Здесь мы обнаруживаем тупик, в который неизбежно заводит нас миметическая репрезентация.

Мой второй тезис таков: чтобы задвинуть подальше этот затруднительный вопрос об отношении между мыслью и действием, теоретики последовательно говорят об *индивидуальном* представителе народа, в отличие от представительного органа как *целого*. Ведь в случае индивидуального представителя народа расхождение между мыслью и действием никогда не выйдет за определенные рамки. Это означает, что репрезентация сохраняет по крайней мере минимальную кредитоспособность. Следует добавить, что именно здесь политические партии играют роль, представляющую интерес для теории репрезентации, а не только для ее практики. Ведь партия, во всяком случае до определенной степени, все еще воплощает единство мысли и действия, которое мы связываем главным образом с отношением между *индивидуальным* представителем и избирателем. Кроме того, остатки этого единства отражаются и в том глубоком наблюдении, что для политически образованного слуха слово «партия» всегда имеет особый якобинский, революционный отзвук. Дореволюционная Европа боялась партий как фракций, нацеленных на разрушение государства, и эти страхи, пусть и необоснованные, достаточно понятны. Действительно, партии вполне можно рассматривать как окаменевшие и политически нейтрализованные остатки революционного прошлого Европы.

В любом случае представляемое лицо все еще может отождествляться с выбранной им партией, признавая в ней по меньшей мере существенный остаток единства мысли и политического действия. Но на уровне парламента как целого представляемый человек может лишь ощущать, что он представлен этим парламентом, и в этом смысле единство мысли (электората) и действия (государства) окончательно разрушено. Проблемы вертикальной связи между представляемым и представителем приобретают, таким образом, более радикальную форму горизонтального разрыва между электоратом и государством — разрыва, который явно противоречит всей сути миметической репрезентации.

Еще одно отягчающее обстоятельство, если говорить об интересах представляемого лица, состоит в потере сплоченности, которую мы наблюдаем во всех политических партиях западных демократических стран в 1980-х — начале 1990-х годов. До этого идеология гарантировала достаточную тождественность избирателя и партии. А с этого времени антиидеологические тенденции современного, постмодернистского мира все больше подрывают миметическую политическую

репрезентацию и ее идеалы. Конец идеологии приводит также к концу миметической репрезентации (это и должно было случиться с точки зрения современного понимания политической репрезентации). В результате современная политическая мысль предлагает нам некую половинчатую теорию репрезентации. Ведь теоретики продолжают размышлять над тем, как индивидуальные представители могут и должны учитывать разнообразие мнений электората, но они никогда не спрашивают, при каких обстоятельствах индивидуальный представитель все еще может узнать себя в том, что думает, желает или делает представительный орган *как целое*. Излишне говорить, что эта проблема затрагивает сердцевину всякой политической репрезентации. У нас было бы мало оснований доверять политическому представительству, если бы оно состояло лишь из одного члена, действующего более или менее соответственно нашим мыслям и желаниям, тогда как поведение парламента как целого произвольно, непостижимо или необъяснимо с точки зрения современной теории репрезентации.

Проблема осложняется тем фактом, что наличие разных партий в парламенте не свидетельствует о политическом несовершенстве страны (как истолковали бы этот факт стоики), а выступает как *raison d'être*⁴⁴ института парламента, или политической репрезентации. Ведь мы имеем парламент, который представляет электорат, для того чтобы согласовать существующие различия во мнениях. Значит, представительный орган по своей природе должен быть разделенным. Представительный орган, который *не* разделен, составляет противоречие в определении, он бесполезен и избыточен, поскольку будет принимать решения, которые вполне могли бы быть приняты и без него. Таким образом, политические конфликты, представляемые и выражаемые партиями, с одной стороны, и разделенность мышления и политического действия, иллюстрируемая ими же, с другой, придают силы друг другу, а действие возникающего в результате политического механизма есть непостижимая тайна. Иными словами, из-за необходимости принимать решения в этом диссонансе (который составляет суть и *raison d'être* всякой политики) существующие теории репрезентации оказываются недостаточными, ибо не объясняют, почему, несмотря на постоянное расхождение между представляемым и парламентом, вытекающее из этого диссонанса представляемое лицо все еще может считать, что оно представлено парламентом.

Перейдем к моему третьему тезису: без неостоицистского всеохватывающего порядка, как бы он ни понимался и ни определялся, без *tertia comparationis*, без постулата о сводимости репрезентации к пред-

⁴⁴ *Raison d'être* (фр.) — смысл существования. — *Примеч. пер.*

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

ставляемому лицу миметическая теория теряет свои базу и обоснованность. К этому выводу пришли почти все. Немногие политические теоретики сегодня станут защищать стоицистскую миметическую репрезентацию и будут готовы отказать представителю в некоторой автономии и независимости по отношению к тем, от имени кого он выступает. С теоретической точки зрения миметическая репрезентация на уровне политической идеологии отвергается, потому что она лишила бы парламентскую работу всякой цели: зачем обдумывать различные политические предложения, если в конечном счете мы все равно связаны мнениями представляемых людей?⁴⁵ Далее, миметическая репрезентация требует, чтобы мнения представителя и представляемого лица совпадали. Если это вообще что-то означает, мы должны предположить, что они оба известны. Но если мнение представляемого лица уже известно, то как раз согласно посылкам миметической репрезентации представление излишне.

На этой стадии, несомненно, можно ожидать возражения, что социологические опросы могут доставлять нам точную информацию о мнениях электората. Разве социологические опросы не дают нам сведений об «объективной природе» политической реальности? Подобным образом и политики зачастую говорят о желаниях избирателя, полагая, что существует некая объективная, данная реальность, соответствующая фикции «избиратель». И, конечно, искусительность стоицистской политической теории понуждает нас поверить, что такая объективная политическая реальность действительно есть и должна быть. Мимезис предполагает наличие реальности, которая представляется. Но из неопровержимого факта, что опросы действительно измеряют *нечто*, мы не можем заключить, что это нечто можно уравнивать с объективной политической реальностью. Измерение, как в случае социологических опросов, — один из наиболее убедительных эффектов реальности для современного сознания, но на самом деле оно есть миф, подобный бартовскому мифу объективной социальной реальности, которая якобы копируется в реалистическом или натуралистическом романе. Именно здесь, впервые в этом очерке о политической репрезентации природа эстетического представления наводит нас на важную догадку. Ведь сходным образом те «объективные» измерения изображаемой реальности, что делали художники вроде Альберти или Дюрера, несомненно, суть часть эстетической репрезентации, но никогда не вся художественная репрезентация реальности.

Такие объективистские упрощения не дают достаточного объяснения отношению между представляемым и его репрезентацией. А отсюда

⁴⁵ Этот аргумент уже был сформулирован Берком; см.: Pitkin H.F. The Concept of Representation. Berkeley, 1967. P. 147.

вытекает неспособность вполне понять первенство репрезентации относительно представляемого. Хотя мы можем сказать, что то, касательно чего истинное суждение истинно, первоначальнее самого суждения, в том смысле, в каком красный цвет розы предшествует суждению «роза (есть) красная», с репрезентацией обстоит иначе. В случае истинного суждения это первенство обнаруживается в том, что истинное суждение характеризует конкретное положение дел, существующее ранее этого суждения и независимо от него, и это может сделать суждение истинным или ложным. В случае репрезентации и представляемого ситуация иная. Репрезентация избирательна: она предлагает нам увидеть мир с определенной точки зрения и упорядочить то, что мы видим, определенным образом. Ландшафт не может определять, с какой точки зрения на него смотрят, а репрезентация всегда содержит некий элемент, существенный для нее как репрезентации, который в принципе невозможно свести к аспектам *самого* мира и к тому, что истинно или ложно. Репрезентация всегда поднимает вопрос о том, какую совокупность истинных суждений мы можем предпочесть другой совокупности истинных суждений; естественно, такие предпочтения не могут быть описаны в терминах истинности и ложности. Это не неудача и не дефект представления (как могли бы подумать люди, все еще находящиеся под чарами истинного суждения), а именно то, для чего нам нужны репрезентации: они *организуют* знание (то есть истинные суждения), но сами не суть знание. И благодаря их способности организовывать знание мы можем ориентироваться в реальности и поддерживать осмысленные отношения с ней. Поэтому неправильно было бы сожалеть о первенстве репрезентации по отношению к представляемому, видя в нем какое-то прискорбное или неискоренимое ее несовершенство и доказательство печальной неспособности соответствовать чистым и строгим стандартам истинного суждения. Ведь именно первенство репрезентации и есть причина, по которой мы нуждаемся в ней, находим в ней необходимый инструмент обретения своего пути в реальности. Истинная репрезентация реальности была бы точно так же бесполезна для нас, как копия текста, вручаемая нам в ответ на вопрос о том, как следует понимать этот текст⁴⁶. Это позволяет нам понять, что не стоит полагать, будто где-то и как-то в электорате имеется некое качество, которое соответствует или должно соответствовать его репрезентации (либо политиком и политической партией, либо государством) *в том смысле*, в каком об истинном суждении правильно сказать, что оно соответствует какому-то качеству реальности. Это верно, хотя такие подобия репрезентации и предполагаются нашей ошибочной верой в социологические опросы

⁴⁶ Более подробное изложение этих суждений о природе репрезентации см. в моей работе «История и тропология», гл. 3.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

как фактор, обуславливающий и определяющий всякое легитимное политическое действие.

Аргумент против социологических опросов, поскольку они заменяют собой взаимодействие между представляемым (электоратом) и представителем (политиком и государством), вовсе не предполагает, что представляемый и его репрезентация не имеют взаимодействия: оно очевидно *существует* и иногда бывает более интенсивным и тесным, чем отношение между истинным суждением и реальностью. Подобным образом и картины часто представляют реальность, открывая нам путь к более глубоким уровням реальности, нежели те, к каким может вести истинное суждение. Я лишь утверждаю, что истинность и ложность, как и якобы объективная истина социологических опросов, не служат подходящими критериями для оценки природы этого отношения и что критерии, к которым мы здесь должны обратиться, суть существенно эстетические. Художественная репрезентация иногда требует даже намеренного искажения «объективной» истины. Так, Гомбрих цитирует эстетика XVII века Ролана Фреара де Шамбре:

Всегда, когда художник заявляет, что подражает вещам, как он видит их, он наверняка видит их неправильно <...>. Значит, прежде чем взять карандаш или кисть, он должен согласовать свой глаз с размышлением о принципах искусства, которые учат, как видеть вещи не только такими, каковы они суть сами по себе, но и такими, какими они должны быть представлены. Ведь было бы серьезной ошибкой рисовать их точно так, как их видит глаз, сколь бы парадоксальным это ни казалось⁴⁷.

Обратимся к более наглядному примеру. В последние 30 лет теоретики истории старались привлечь внимание к стоицистской иллюзии измерения истинных качеств прошлой реальности и к «правилам перевода», которые якобы должны позволить историку достичь объективной репрезентации прошлого⁴⁸. Но таких «правил перевода» не существует, и все попытки определить природу этих правил и найти кандидатов, пригодных на эту роль, для того чтобы добиться убедительной эпистемологической легитимации, оказались тщетными. Точнее говоря, такие «правила перевода» никогда не даны нам ни в исторической, ни в художественной репрезентации. Скорее они суть то, о чем идет речь во всякой дискуссии об истории и истории стилей в живописи. Следовательно, посылка о существовании таких «правил перевода» для исторической репрезентации автоматически означала бы конец всего, что стоит

⁴⁷ Цит. по: Gombrich E. Art and Illusion. L., 1977. P. 263.

⁴⁸ См. мою работу: Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language. The Hague, 1983. Chap. 4. [Анкерсмит Ф.Р. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М., 2003. Гл. 4.]

на кону в споре историков. Она побуждала бы также к обывательскому решению отныне считать один конкретный стиль обязательным для всякой живописной репрезентации реальности, а тех художников, которые будут упрямо отказываться принять этот стиль, больше никогда и ни при каких обстоятельствах не расценивать как настоящих художников. Историописание и искусство интересны как раз тем, что мы всегда можем (более того, всегда должны) обсуждать адекватность любых предлагаемых «правил перевода»; эти «правила перевода» не даны ни в историописании, ни в искусстве (хотя и используются применительно к истинному суждению), но всегда представляют собой действительно интересную проблему.

Это верно и относительно политической репрезентации: желание иметь фиксированные правила, которые были бы обязательными и для избирателя, и для политика, которые коренились бы в нашем якобы достоверном знании о природе «объективной» политической реальности, автоматически означало бы устранение самого существа политики, политической дискуссии и борьбы. Поэтому мы должны бороться с соблазном свести политическую репрезентацию к фиксированным правилам и матрицам, которые мы связываем с «правильным» измерением «объективной» природы политической реальности посредством опросов общественного мнения или, если взять теоретически более интересную альтернативу, посредством прямой демократии.

Наконец, теоретики миметической репрезентации «говорят так, словно у каждого [избирателя] есть готовые мнения по каждому возможному вопросу, а значит, политическая проблема сводится лишь к получению точной информации о национальном мнении, которое уже существует»⁴⁹. Это, конечно, далеко от реальности: у электората нет мнения по многим вопросам, с которыми тем не менее представителю приходится иметь дело. Кроме того, действительно важны не столько политические принципы и предпочтения избирателя, а то, как он представляет себе отношение этих принципов и предпочтений к принципам и предпочтениям других избирателей. В демократической политике по-настоящему важны не принципы и политические предпочтения, а то, как можно *договариваться*, имея их. Именно это определяет ее результат, качество демократической процедуры принятия решений, а также ее оценку избирателем. Ведь демократия и демократическое принятие решений начинаются только после того, как мы покинули сферу формирования принципов и мнений отдельного избирателя и достигли уровня, где можно прийти к компромиссу между конкурирующими совокупностями принципов и предпочтений.

⁴⁹ Pitkin H.F. The Concept of Representation. Berkeley, 1967. P. 82.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Сами политические принципы и предпочтения являются еще демократическими. И, конечно, для их согласования, составляющего сущность демократии, невозможно найти прочное основание в сознании индивидуального избирателя и даже коллектива избирателей. Мнение избирателя о достижении такого компромисса может быть установлено с какой-то степенью точности и надежности только *после* того, как процесс согласования завершился достижением определенного компромисса. Ведь избиратель может дать реалистичную оценку вариантов, которые у него действительно были, только тогда, когда началась процедура согласования принципов и предпочтений. Как сказали бы деконструктивисты, демократическое принятие решений по существу интертекстуально и сопротивляется метафизике присутствия, стоящей за признанием мнений избирателя единственным прочным основанием демократии и демократического принятия решений. Именно об этой интертекстуальности политических принципов и мнений, об этом *взаимоотношении* принципов и предпочтений, а не о них самих, идет речь на выборах. Вот почему единственным реальным социологическим опросом всегда будут выборы. И вот почему социологические опросы или даже электронные выборы, возможность которых сейчас обдумывают некоторые политологи, никогда не заменят настоящие выборы.

Но это не означает, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не могли бы исполнять эту функцию. Ключевой фактор — скорее то, что в современных демократиях тип выборов, который мы имеем, играет решающую роль в определении того, что следует считать представлением электората. Именно так *для нас* осуществляется политическая репрезентация, и поэтому рассуждать о том, не лучше ли было бы полагаться на социологические опросы или электронное голосование, — почти то же, что советовать Тициану вместо написанного им портрета Карла V довольствоваться портретом кисти Бернарта ван Орлея или же каким-то другим, достигшим фотографической точности портретов работы Ингреса или Делароша. Однако в данных обстоятельствах — Карл V позировал Тициану, и последнему удалось в тот конкретный момент постичь душу и характер императора — написанный Тицианом портрет выражал *с его точки зрения верную* репрезентацию Карла. Но излишне говорить, что, как бы мы ни соглашались с Тицианом, который предпочел бы свой портрет императора портрету кисти ван Орлея, это, безусловно, не может быть решающим аргументом в пользу этой конкретной репрезентации.

Это верно и применительно к политической репрезентации. Конечно, в том, как мы формируем наши представительные организации, есть немалая доля произвола и полнейшей исторической случайности. Если

бы, например, электроника достигла современного уровня во времена появления представительной демократии, вполне возможно, что мы доверили бы процедуру одобрения конституции электронной системе голосования, а наши нынешние выборы считали бы чрезвычайно грубым и допотопным способом представления воли и предпочтений электората. Нет ничего принципиально неправильного в замене выборов опросом общественного мнения, электронным голосованием или некоей комбинацией всех этих систем. Но теперь, когда в силу тех или иных исторических обстоятельств мы используем систему выборов голосованием, такие выборы и суть причина, по которой мы осуществляем репрезентацию «по-нашему» — *our way* (если вспомнить Фрэнка Синатру) — и не можем сказать, что электронное голосование оценивало бы волю электората лучше, чем регулярные выборы. Ведь помимо или поверх того, что определяется выборами, просто нет ничего, что надо было бы измерять: мы принимаем их потому, что они измеряют то, что измеряют, и только они могут измерить это. В любом случае, и это моя основная мысль здесь, следует избегать соблазна предвзято исправлять или поверять одну систему репрезентации другой, поскольку это напоминало бы утверждение, что сегодня, когда у нас есть фотография, живопись устарела. Мы склонны говорить это, поскольку всегда хотим верить, что есть некое объективное содержание или ядро представляемой реальности, скрытое в самой реальности, и совокупность «правил перевода», которые позволят нам правильно схватить это содержание или ядро. Но решающий аргумент против всех идей такого рода состоит в том, что репрезентация (вспомним о живописи) всегда осуществляется, так сказать, *между* репрезентируемым и его репрезентацией, она всегда нуждается в наличии этой дистанции и последующем взаимодействии между ними. Следовательно, мы никогда не можем установить совокупность свойств самой представляемой реальности, которых было бы достаточно для определения природы ее репрезентации.

Ошибочная вера в это содержание или ядро представляемого и в существование «правил перевода» составляет сердцевину миметической репрезентации. Последняя коренится в нашем интуитивном убеждении, что в идеале репрезентация есть (и должна быть) совершенный мимезис или копия представляемой реальности, столь точная, что мы уже не можем отличить репрезентацию от репрезентируемого. И именно здесь мы обнаруживаем главное заблуждение, стоящее за всеми этими миметическими интуициями. Ведь если репрезентация должна быть неотличимой копией репрезентируемого, то мы вполне можем обойтись одной только репрезентируемой реальностью и отбросить репрезентацию как опасное и бесполезное дополнение. Иначе говоря, миметическая теория (политической) репрезентации — на са-

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

мом деле вовсе не теория репрезентации, а теория, свидетельствующая *против* репрезентации. Поэтому нас не должно удивлять, что, помимо только что изложенных теоретических аргументов против миметической репрезентации, мы находим ряд более практических возражений относительно миметических иллюзий. Миметическая репрезентация применительно к действиям, согласно которой представитель — не более чем делегат избирателя, сегодня отвергается, поскольку эта теория, расходящаяся с известной всем нам парламентской практикой, сводит представителя к почтовому ящику. Еще одно возражение состоит в том, что избиратели так часто не согласны друг с другом, что не могут предоставить мандат представителю; наконец, политические проблемы нередко настолько сложны, что их невозможно сформулировать в ясном вопросе к электорату, с тем чтобы узнать, какое действие следует предпринять⁵⁰. Опасность того, что представитель, будучи выбран, не станет принимать в расчет избирателей, отвергается указанием на то, что представитель подотчетен избирателям⁵¹, которые требуют, чтобы он был ответственен перед теми, кто его выбрал⁵². Последнее замечание, высказанное Х.Ф. Питкин, было воспринято с огромным энтузиазмом американскими политологами⁵³. Это объясняется, вероятно, губчатой природой слова «ответственный»: ведь это понятие может многое впитывать, не изменяя своей видимой формы. Оно доставляет нам идеальную концепцию на все случаи жизни, которая позволяет успешно спрятать все наши нерешенные проблемы, относящиеся к природе политической репрезентации.

И теперь я перехожу к своему четвертому тезису: вышеперечисленные аргументы в поддержку эстетической репрезентации не производят большого впечатления. Если оставить в стороне недостатки, которые они выявляют в противостоящей им миметической теории репрезентации, то эти аргументы по большей части имеют практический характер. В этом качестве они несомненно верны. Однако желательно иметь более теоретическое обоснование эстетической репрезентации, причем по двум причинам. Во-первых, миметическая теория будет оставаться весьма

⁵⁰ Pennock J.R. Political Representation: An Overview // Representation / ed. by J.R. Pennock, J.W. Chapman. P. 14 ff; Pennock J.R. Democratic Political Theory. P. 323 ff; Pitkin H.F. The Concept of Representation. Chap. 7.

⁵¹ Pitkin H.F. The Concept of Representation. P. 53–59. См. также ее критическое обсуждение Гоббса в гл. 2; Sartori G. Representational Systems. P. 464, 467.

⁵² Pitkin H.F. The Concept of Representation. P. 234.

⁵³ Eulau H., Karps P.D. The Puzzle of Representation // Eulau H., Wahlke J.C. The Politics of Representation. L., 1978. P. 60 ff. Авторы этой статьи называют год, когда вышла книга Питкин, переломным в истории исследования репрезентации (р. 69). Тот же энтузиазм обнаруживается в работе: Eulau H., Wahlke J.C. Introduction // Id. The Politics of Representation. P. 16.

искусительной, пока не будет предложена теоретическая альтернатива стоицистскому понятию всеохватывающего порядка, в котором миметическая репрезентация всегда черпала свои правдоподобие и основательность. Без убедительной, самостоятельной теории эстетической репрезентации мы всегда будем испытывать соблазн вернуться к миметической. Во-вторых, как мы увидим, из теоретического обоснования эстетической репрезентации можно извлечь несколько интересных выводов.

3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

(Политическая) репрезентация, как часто говорят, делает присутствующим то, что отсутствует. Представительный орган создает присутствующими отсутствующие мысли и действия людей. В процессе политической репрезентации изображение политической воли, которая существует в одной среде (народе), делается видимым и присутствующим в иной среде (представительном органе). Следовательно, репрезентация есть по существу процесс изображения. Репрезентация реальности — деятельность художника в области изобразительного искусства. По этой причине то, что эстетика может сказать о художественном изображении реальности, позволит нам углубить наше понимание политической репрезентации. В частности, эстетика может сделать наше понимание эстетической политической репрезентации более точным, поскольку (современная) эстетика тоже отказалась от миметического представления. Гомбрих отверг *expressis verbis*⁵⁴ идею *tertium comparationis* — идею порядка или фона, охватывающего одновременно и изображаемую реальность, и художественную репрезентацию⁵⁵. Относительно египетского и примитивного искусства, которые мы склонны осуждать, поскольку они неточно отражают реальность, Гомбрих пишет:

Но недавно нам объяснили, насколько неверно мы понимаем примитивное и египетское искусство, полагая, будто художник искажает свой сюжет или даже хочет, чтобы мы увидели в его произведении запись того или иного конкретного опыта <...>. Во многих случаях такие образы репрезентируют в смысле замещения⁵⁶.

⁵⁴ *Expressis verbis* (лат.) — открытым текстом, в ясных выражениях. — *Примеч. пер.*

⁵⁵ Gombrich E.H. *Meditations on a Hobby Horse // Aesthetics Today / ed. by M. Philipson, P.J. Gudel. N.Y., 1980. P. 175.*

⁵⁶ Gombrich E.H. *Meditations on a Hobby Horse. P. 175.* Гомбрих продолжает: «Глиняная лошадь или слуга, похороненные в могиле могущественного человека, занимают место живого. Идол занимает место Бога. Вопрос о том, представляет ли он “внешнюю форму” определенного божества или даже некоего класса демонов, вообще не возникает. Идол служит заменой Бога при поклонении и в ритуалах».

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Ключевая идея состоит в том, что художественная репрезентация не дает миметического подобия того, что представляется, а замещает его. У художника нет цели вызвать просто оптические иллюзии, создать произведения искусства, которых мы даже не заметили бы, поскольку они полностью вписывались бы в реальность и поглощались ею, почти не отличаясь от нее. Иначе очень немногие художники достигли бы своих целей, так как никто не спутает изображение пейзажа с реальным пейзажем. На самом деле изобразительные искусства предлагают заместителя реальности — правда, такого, который вызывает к жизни иллюзию реальности⁵⁷, но все же остается отличимым от самой реальности. Именно это различие между репрезентацией и тем, что репрезентируется, становится источником и условием всякого эстетического наслаждения. «Такого рода наслаждение, — пишет Артур Данто, — доступно только тем, у кого есть понимание реальности, отличающейся от фантазии или имитации»⁵⁸. Эстетическое наслаждение невозможно, пока мы не научимся признавать коренное отличие реального мира и мира художественного изображения реальности; цель миметической репрезентации состоит как раз в его устранении.

Это имеет значение для политической репрезентации. Мы должны отвергнуть миметическую политическую репрезентацию не столько потому, что она не лишена определенных теоретических недостатков, сколько (как мы заметили в предыдущем разделе) просто потому, что она вовсе не есть теория политической репрезентации. Мы можем говорить о репрезентации только тогда, когда имеется различие — а не тождество — между представителем и представляемым лицом. Представитель не может замещать представляемое лицо, если предполагается, что оно тождественно представителю (на чем всегда настаивали теоретики политической репрезентации как тождества). Поскольку произведение изобразительного искусства существенно отличается от репрезентируемого предмета и существенно больше эффекта оптической иллюзии, внушаемое миметической концепцией желание как можно более совершенного сходства между представителем и представляемым лицом противоречит природе эстетической, а следовательно, и политической

⁵⁷ Эту линию мысли Гомбрих разрабатывал в нескольких книгах начиная с «Искусства и иллюзии» и заканчивая недавней работой «Образ и глаз». Как я пытался показать в главе «Историческая репрезентация» книги «История и тропология», между мыслью, что искусство представляет собой замещение реальности (см. предыдущее примеч.), и мыслью, что искусство должно создавать иллюзию реальности, имеется внутренний конфликт. Эта вторая мысль у Гомбриха все больше выходит на передний план. Его критиковали за это среди прочих Уоллхейм и Скрутон.

⁵⁸ *Danto A.C. The Transfiguration of the Commonplace. Cambridge, Mass., 1983. P. 15; разрабатываемый Данто вариант теории замещения см.: Ibid. P. 18–21.*

репрезентации. Между представляемым лицом и представителем проходит та же разделительная линия, что и между реальным миром и миром искусства. Кроме того, мы не должны искать фиксированных правил, регламентирующих отношения между представителем и представляемым лицом. Если мир раскололся на мир представителя и мир представляемого лица и если нет *tertium comparationis*, общего для них обоих, то такие правила более невозможны. Точно так же как история искусства знает множество стилей, и каждый художник вырабатывает в некоторой степени свой индивидуальный стиль, и точно так же как восхищение одним из этих стилей не обязательно означает отрицание всех других, не существует и фиксированных правил, которые определяли бы отношение между представителем и представляемым лицом. Представитель, следовательно, обладает автономией по отношению к представляемому лицу, которую отстаивали защитники эстетической политической репрезентации начиная с Эдмунда Берка и Эмманюэля Сийеса.

Сравнение эстетической и политической репрезентации действительно ставит нас перед проблемой. В случае художественной репрезентации мы знаем одновременно и саму реальность и ее репрезентацию, созданную художником, хотя здесь и нет *tertium comparationis*. Мы все же можем наблюдать их обе отдельно друг от друга. В случае электората или лиц, представляемых в политической репрезентации, реальность, как мы отметили в предыдущем разделе, не есть реальность, которая так или иначе дана нам объективно. Но мы можем утверждать, что именно для этого она и нужна: поскольку со стороны представляемого народа нет объективно данного предложения политического действия и поскольку ожидание его существования было бы категориальной ошибкой, нам нужна репрезентация, чтобы мы имели возможность определить такие предложения. Репрезентация получает свои цель и значение благодаря неопределенному и по-разному истолковываемому характеру реальности, которая репрезентируется. Именно в этом отношении политическая репрезентация очень похожа на историческую: как подчеркивают сторонники конструктивизма в исторической теории, мы не можем говорить об исторической реальности вне или помимо ее репрезентации, создаваемой историком. Историческая реальность всегда дана нам в репрезентации и посредством нее, что, спешу добавить, отнюдь не предполагает идеалистического заключения об исторической реальности как простом *продукте* исторической репрезентации. Существование исторической реальности, составляющей предмет исторической репрезентации, есть бесспорный факт, в котором не усомнился бы ни один здравомыслящий человек.

Такое положение дел с репрезентацией (исторической, эстетической и политической) подводит меня к основной идее моей аргументации. Те-

зис, который я собираюсь защищать, таков: неверно, что политическая реальность сначала дана нам, а потом репрезентируется; политическая реальность возникает только после репрезентации и благодаря ей. Здесь я обращаюсь к Данто и его пониманию художественной репрезентации. Согласно Данто, мы знаем не только тривиальную истину, что всякая репрезентация есть представление реальности. Он также побуждает нас принять во внимание более интересную точку зрения, согласно которой нечто реально, когда оно соответствует собственной репрезентации, точно так же как нечто становится носителем имени, когда его называют именем⁵⁹. Другими словами, реальность как таковая не существует до того момента, пока не появляется ее репрезентация. Идея в том, что реальность в собственном смысле слова не существует, пока мы не помещаем ее, так сказать, перед собой на некотором удалении, а это достигается в репрезентации и благодаря ей. Для того чтобы правильно понять это утверждение, полезно отметить, чем именно репрезентация в этом смысле отличается от того рода знания, что предлагается науками. В науке «реальность» — избыточное понятие, которое обозначает только то, относительно чего истинны истинные суждения. Именно эти истинные суждения и то, относительно чего они истинны, выполняют всю работу, и понятие «реальность» не имеет другого применения. Наука может обойтись без этого понятия. В случае репрезентации, однако, оно необходимо как другая сторона репрезентации, как то, репрезентацией чего выступает сама репрезентация. «Реальность» оказывается философски активным и неизбежным понятием лишь в контексте репрезентации (эстетической или политической). Только благодаря дистанцированности, различию и взаимной независимости репрезентации и того, что она репрезентирует, мы сталкиваемся с реальностью и эта реальность возникает. Другие формы познания реальности, например в когнитивных науках, не создают этой дистанцированности и потому не вызывают возникновения реальности. (Хотя опять-таки сразу поясню: это не означает, что репрезентация *создает* реальность. Чтобы лучше понять эту мысль, представим, что происходит, когда мы обводим определенную территорию на карте и называем ее «Францией» или «Германией»⁶⁰.) Именно в этом смысле мы можем сказать вместе с Данто, что только путем создания заместителя реальности (то есть репрезентации) мы оказываемся на расстоянии от реальности и тем самым делаем ее существующей. Только в репрезентации наши репрезентации

⁵⁹ Danto A.C. Artworks and Real Things // Aesthetics Today / ed. by M. Philipson, P.J. Gudel. P. 323; 335.

⁶⁰ Danto A.C. The Transfiguration of the Commonplace. P. 77. См. также мою «Историческую репрезентацию» (Ankersmit F.R. Historical Representation. Stanford, Calif., 2001).

и реальность разделены линией, которая отводит каждой из них надлежащую область.

О значении этой мысли для политической репрезентации легко догадаться. Миметическое понимание репрезентации предполагает, что сначала есть реальность индивидов, которые должны быть представлены, — потом они станут избирателями; тогда как эта первичная реальность впоследствии репрезентируется в репрезентации народа. Так рассуждали в рамках миметических теорий естественного права, и вплоть до наших дней все мы с готовностью возвращаемся к этому интуитивному рассуждению. Однако политическая реальность не есть отражение естественной реальности представляемых людей, которая существовала бы сначала; политическая реальность не существует до политической репрезентации, но существует лишь *посредством* нее. Политическая реальность не есть то, с чем мы сталкиваемся как с чем-то всегда существовавшим; она не обнаруживается и не открывается, а создается в процедурах политической репрезентации и посредством них. Клише о создании нового факта здесь можно понимать буквально. В противоположность физической реальности, которую мы должны брать такой, какова она есть, и которую, следовательно, можно изучать без использования слова «реальность», поскольку его употребление не приносит физику никакой пользы, здесь мы имеем дело с реальностью, которая в плане формы, величины, объема и действующих в ней законов столь же изменчива и многообразна, как стили в истории искусства. Точно так же, как искусство не имеет *tertium comparationis*, который, подобно судье, на фактическом или нормативном уровне имеет власть принимать решение об адекватности различных стилей для репрезентации реальности, политическая репрезентация не располагает никакими фактами или нормами, которые могли бы предписывать, к каким формам политической реальности нам следует стремиться. Эстетическая реальность произведения искусства не возникает из художественных правил, усвоенных творцом, и таким же образом политическая реальность не происходит из признания определенных фактов или нормативных правил.

Как неоднократно подчеркивалось, все это не форма идеализма; идеализм есть философское размышление о природе реальности. Здесь же мы имеем дело совсем с другой проблемой *возникновения* политической реальности, а не с правильной философской интерпретацией онтологического статуса уже существующей реальности. И, очевидно, лишь получив объяснение ее возникновения, мы можем задать этот второстепенный онтологический вопрос.

Природа реальности, которая возникает в политической репрезентации, все же может быть охарактеризована более детально. Как мы

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

видели, в политической репрезентации нет тождества представителя и представляемого лица. Значит, в ней нет и тождества их политической воли; но воля представителя — обязывающая для воли представляемого лица. Следовательно, политическая реальность, созданная эстетической репрезентацией, есть по существу политическая *власть*. Эстетическое различие или зазор между представляемым лицом и его представителем оказывается источником (легитимной) политической власти, которой в связи с этим у нас есть основание приписать скорее *эстетическую*, нежели *этическую* природу. Если это утверждение кажется слишком самоуверенным или непродуманным, я предлагаю принять во внимание два следующих соображения. Во-первых, тот факт, что политическая воля представителя и политическая воля представляемого лица не тождественны, не обязательно предполагает, что эти воли конфликтуют (хотя, конечно, это тоже возможно). Миметическая репрезентация сразу же подталкивает нас, точно так же как и Руссо, к мысли о конфликте между ними. Однако недолгое размышление откроет нам слабость или даже абсурдность миметической теории. Ведь она допускает лишь две ситуации: либо представитель есть точная репрезентация представляемого лица (но в таком случае он оказывается излишним), либо нет (и в этом случае власть представителя, согласно логике миметической теории, нелегитимна). Такой была, как мы помним, безупречная логика рассуждения Руссо, и она приводит к выводу, что сторонники миметической теории будут вынуждены либо отрицать существование политической власти, либо объявить *любую* политическую власть в сущности нелегитимной. Если же вернуться к эстетической парадигме, то мы признаем, что картина ландшафта, создаваемая художником, не тождественна изображаемому ландшафту, и все же мы не говорим об их конфликте. Различие между самим ландшафтом и его художественной репрезентацией — не просто ошибка или недостаток картины, напротив, именно из этого различия возникает все то, что может доставлять нам эстетическое удовольствие. Следовательно, политическая реальность, только что упомянутая мною легитимная власть, возникает в полости или, так сказать, в укрытии, которое политическая эстетическая репрезентация создает между представителем и представляемым лицом. Другими словами, в то время как в миметической репрезентации области представителя и представляемого лица в принципе всегда совпадают или конгруэнтны, а в результате всякое различие между политической волей представителя и волей представляемого лица приводит к жесткому применению власти первым по отношению ко второму, эстетическая репрезентация создает лауну между ними, которая доставляет им обоим собственное пространство, позволяющее двигаться, не вступая в конфликт друг с другом.

Во-вторых, утверждение, что власть, возникающая благодаря репрезентации, легитимна, можно развить в двух отношениях. Прежде всего, власть, легитимно используемая представителем, так же легко может быть отобрана у него избирателем. Очевидно, именно это делает власть конституционно легитимной. Но важнее второе соображение. Оно прямо вытекает из моего объяснения эстетической природы политической власти, которая, хотя может *использоваться* представителем (государством), не находится во *владении* ни представляемого (народа), ни представителя (государства). Ведь мы видели, что власть имеет своим истоком не народ (как полагали теоретики народного суверенитета) и не правителя (как думали теоретики абсолютистского государства), а возникает *между* народом и государством. Или можно сказать, чтобы избежать предположения о квазимистическом происхождении легитимной политической власти, что власть происходит из решения народа позволить всей своей совокупности разделиться на представителей и представляемых лиц. Конституционные правила, регламентирующие отношения между избирателями и избранным лицом, — правила игры для контроля над тем, что не принадлежит ни одной из сторон по той причине, что политическая власть никогда не *могла* бы принадлежать ни одной из них. Если бы политическая власть была отдана одной из двух сторон, это неизбежно привело бы к возрождению миметических концепций.

Многие из этих мыслей содержались уже в речах и памфлетах, написанных Эмманюэлем Жозефом Сийесом накануне и в первые годы Великой французской революции. На мой взгляд, Сийес проник в тайны репрезентации глубже, чем любой другой теоретик, будь то предшествующий или последующий. Для Сийеса политическая философия тоже представляет собой не науку вроде физики и не форму этики, а *искусство*. Политическая философия, в отличие от физики, не ограничивается теоретической связью между фактами; она есть *ars combinatoria*⁶¹ и напоминает работу архитектора, которому сначала надо создать образ, репрезентацию здания, прежде чем она сможет стать реальностью⁶². Далее, этика дает рекомендации индивиду в его поступках. Искусство социального, согласно Сийесу, — это «искусство обеспечивать и увеличивать счастье наций», и это искусство, «поскольку оно поистине творческое, не может опираться на образцы, уже имеющиеся в истории и природе; оно должно быть больше простого указа-

⁶¹ *Ars combinatoria* (лат.) — искусство комбинаций. — *Примеч. пер.*

⁶² *Sieyès E.J. Überblick über die Ausführungsmittel, die den Repräsentanten Frankreichs in 1789 zur Verfügung stehen // Emmanuel Joseph Sieyès: Politische Schriften, 1788–1790 / Hrsg. von E. Schmitt, R. Reichardt. Darmstadt, 1975. S. 34, 35.*

ния на природу или историю»⁶³. Для Сийеса политическая философия тоже была эстетической, как мы ее здесь понимаем, а также источником всякой легитимной политической власти. «Всякая власть коренится в репрезентации»⁶⁴ не потому, что репрезентация легитимирует власть,

⁶³ Цит. по: *Prélot M. Histoire des idées politiques*. Paris, 1970. P. 452.

⁶⁴ Статья Сийеса «Мнение Сийеса о различных статьях четвертого и пятого разделов проекта конституции...» (*Sieyès E.J. Opinion de Sieyès sur plusieurs articles des titres IV et V du projet de constitution, prononcée à la Convention le 2 thermidor de l'an troisième de la République; imprimée par ordre de la Convention Nationale // Les discours de Sieyès dans les débats constitutionnels de l'an III / Éd. critique par P. Bastid. Paris, 1939*) содержит наиболее впечатляющую похвалу политической репрезентации из всех, какие можно найти в его работах: Tout est représentation dans l'état social. Elle se trouve partout dans l'ordre privé comme dans l'ordre public; elle est la mère de l'industrie productive et commerciale, comme des progrès libéraux et politiques. Je dis plus, elle se confond avec l'essence même de la vie sociale <...>. Je voulais prouver qu'il y a tout à gagner pour le peuple à mettre en représentation toutes les natures de pouvoir dont se compose l'établissement public, en se réservant le seul pouvoir de commettre tous les ans des hommes sensés et immédiatement connus de lui, pour renouveler la portion sortante de ses représentants pétitionnaires, législatifs et communaux <...>. Il est constant que se faire représenter dans le plus des choses possibles, c'est accroître sa liberté, comme c'est la diminuer que d'accumuler des représentations diverses sur les mêmes personnes. Voyez dans l'ordre privé, si celui-là n'est pas le plus libre, qui fait le plus travailler pour soi; comme aussi tout le monde convient qu'un homme se met d'autant plus dans la dépendance d'autrui, qu'il accumule plus de représentation dans la même personne, au point qu'il arriverait jusqu'à une sorte d'aliénation de lui-même, s'il concentrait tous ses pouvoirs dans le même individu («В социальном устройстве представление — это все. Оно обнаруживается повсюду в частном порядке, как и в публичном; оно мать промышленности и торговли, а также либерального и политического прогресса. Я скажу больше, оно входит в самую сущность общественной жизни <...>. Я хотел доказать, что народ безусловно выигрывает, если все виды власти, из которых складывается государственное устройство, делает представительными, оставляя за собой единственно власть выдвигать каждый год разумных и непосредственно известных ему людей, дабы восполнить уходящую часть петиционных, законодательных или общинных представителей <...>. Неоспоримо, что быть представленным в максимально возможном числе инстанций — значит увеличить свою свободу, а ограничивать собственную представленность одними и теми же лицами — значит эту свободу уменьшать. Посмотрите сами: разве в частном порядке самый свободный — не тот, кто больше всех заставляет работать на себя? И при этом все согласятся с тем, что человек оказывается тем больше зависимым от другого, чем больше его представляет один и тот же человек, так что в итоге он может прийти к некоему отчуждению самого себя, если все свои полномочия передаст одному и тому же индивиду») (P. 16–17). См. также: *Sieyès E.J. Von dem Zuwachse der Freiheit in dem Gesellschaftsstande und in dem Stellvertretungssystem // Ölsner K.E. Emmanuel Sieyès, politische Schriften vollständig gesammelt von dem Deutschen Übersetzer nebst zwei Vorreden über Sieyès Lebensgeschichte, seine politische Rolle, seinen Charakter, seine Schriften*. [Leipzig], 1796.

а потому, что всякая легитимная власть возникает исключительно в политической репрезентации и посредством нее.

4. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

«Для Александра Гамильтона, Джона Джея и особенно Джеймса Мэдисона, выступавших в “Федералисте”, — пишет Питкин, — представительное правление есть инструмент, применяемый вместо прямой демократии из-за невозможности собирать большие массы людей в одном месте, замена собраний с личным участием граждан»⁶⁵. Такого рода обоснования политической репрезентации следует полностью отбросить. Репрезентация — не инструмент для решения практической проблемы собирания всех граждан вместе, не замена прямой демократии *faute de mieux*⁶⁶, она есть необходимая и единственно конституционная процедура создания политической власти, нужная для решения наших сложнейших политических и социальных проблем. Даже если бы прямая демократия была осуществима (*quod non*⁶⁷), эстетическая репрезентация была бы *все же* намного более предпочтительна. Без нее наше общество вырождается в хаос, в котором мы оказываемся и беспомощными, и бессильными. Границы представительной демократии находятся там, где различий во мнениях не существует и где поэтому была бы возможна миметическая репрезентация. Вне этих границ лежит область миметической репрезентации, где государство и общество стали неразделимыми, а политическая власть неизбежно нелегитимна.

Легитимная политическая власть предполагает (эстетическое) различие или отделенность государства и общества. Безусловно, многие проблемы парламентской демократии конца XX века коренятся в этом постепенном исчезновении границ между государством и обществом. Несомненно, это размывание различия между государством и обществом, это постепенное истощение безмерно ценного политического наследства, оставленного нам *ancien régime*⁶⁸, было спровоцировано, по крайней мере частично, соблазнами миметической теории. Два столетия мы бездумно проживали это наследство, и только из-за исчерпания этого политического капитала в наши дни мы можем осознать его ценность и значимость для правильной работы механизмов публичной сферы. В результате эксплуатации и беззаботного растрачивания этого политического наследства *и общество, и государство* стали двойной эманацией

⁶⁵ Pitkin H.F. The Concept of Representation. P. 191.

⁶⁶ Faute de mieux (фр.) — за неимением лучшего. — Примеч. пер.

⁶⁷ Quod non (лат.) — «это — нет», отнюдь нет, ни в коем случае. — Примеч. пер.

⁶⁸ Ancien régime (фр.) — старый порядок. — Примеч. пер.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

одной (все еще не названной) субстанции. И это привело к тому, к чему стремился и тоталитаризм: к подчинению государства и общества одному началу.

Отсюда становится понятно, что насилие и варварство, которые мы обычно связываем с тоталитаризмом, — не наиболее существенные его свойства. Особенно если мы вспомним о защите нацизма Карлом Шмиттом, можно сказать, что насилие и варварство — скорее просто средства достижения единства государства и общества, обещанного миметической теорией репрезентации. А это означает, что мы должны рассматривать тоталитаризм не как иной и абсолютно чуждый общему направлению развития западной демократии, а как ее чудовищную и ужаснейшую фазу. То, к чему большинство западных демократий пришло относительно мирно и постепенно, а именно отождествление общества и государства, тоталитаризм хотел получить радикальными, жесткими и безжалостными мерами. Это объяснит также, почему тоталитаризм связан столь близким родством с политически менее развитыми странами, где отождествление гражданина с государством было осуществлено лишь частично или не осуществлено вовсе. Соответственно, огромные различия между современными либеральными демократиями и тоталитаризмом связаны не столько с внутренней природой политических систем этих двух типов, сколько с тем, как произошло в них взаимное отождествление государства и гражданина — путем постепенным и контролируемым или путем политического принуждения. С политической точки зрения принципиально важно, что здесь наблюдается отнюдь не утешительное семейное сходство между тоталитаризмом и типичной западной демократией наших дней. Их разделяет только практика политической репрезентации, и уже поэтому политический теоретик должен создать удовлетворительную теорию этой практики. Как предсказал Токвиль полтора века назад, мы, сами того не сознавая, стали гражданами благожелательного тоталитарного общества. Только такая удовлетворительная теория в добрый час предостережет нас от возрождающихся протототалитарных тенденций в наших демократиях.

Точнее говоря, именно искушения миметической теории (наша ошибочная вера в то, что отождествление государства и общества, а также представителя и представляемого лица — в политическом плане лучшее, на что мы можем надеяться) породили тот объем нелегитимной политической власти, который сегодня находится в обращении в западных демократиях. Ведь легитимная власть может возникать только в ситуации, где различие между государством и обществом, между представителем и представляемым лицом максимально отчетливо, а *нелегитимная* власть, напротив, порождается их слиянием, исчезновением зазора между представляемым лицом и представителем и желанием

представителя как можно полнее отождествиться с представляемым (и наоборот). В этом отношении взгляды, изложенные в этой главе, отличаются от традиции эстетической политической философии, историю которой недавно описал Читри⁶⁹ и которая получила свое чистейшее выражение у Шиллера. В этой традиции эстетика используется для соединения индивида и государства. В связи с Шиллером Читри пишет: «Укрепляя эмпатию и понимание других людей, эстетическая чувствительность способствует развитию общества, в котором индивид становится в каком-то смысле самим государством»⁷⁰. Напротив, того рода эстетическая политическая философия, которая отстаивается в этой главе, представляет нам безнадежно расколотый мир, мир без *tertium*, мир, части которого так же несводимы друг к другу, как картина и то, что на ней изображено. И с учетом моих аргументов нас уже не должно удивлять, что традиция эстетической политической философии, изучаемая Читри, стала могущественным союзником тоталитаризма.

Далее, как было сказано выше, идея народного суверенитета должна быть отвергнута. Ведь народный суверенитет нацелен на легитимацию политической власти путем усмотрения ее истоков в народе, так сказать, в представляемом народе. Характерное отсутствие логики в понятии народного суверенитета было уже безжалостно осуждено Гизо полтора столетия назад: что это за теория, согласно которой *il y a un souverain qui, non seulement, ne gouverne pas, mais obéit; et un gouvernement qui commande, mais n'est point souverain* [есть суверен, который не только не правит, но подчиняется; и правительство, которое распоряжается, но не есть суверен]⁷¹? Политическая власть ведет свое происхождение не от представляемого народа и не от представителя, она происходит из самого процесса репрезентации. Политическая власть есть квазиестественный феномен, который возникает в отношении между представителем и представляемым лицом и не может быть предметом притязаний ни одной из этих двух сторон. Политическая власть не находится в чьем-либо владении, хотя ее *отправление* может быть (на определенных условиях) доверено представляемыми лицами их представителю.

Отсюда также следует, что референдум, наиболее очевидный инструмент реализации народного суверенитета, не может быть подходящим инструментом восстановления удовлетворительных отношений между представляемым лицом и представителем, когда эти отношения стали напряженными или, как во многих современных западных демократиях, обоюдно равнодушными. Вспомним еще раз эстетическую метафору,

⁶⁹ Chytry J. The Aesthetic State.

⁷⁰ Ibid. P. 85.

⁷¹ Guizot F. Histoire du gouvernement représentatif en Europe. Paris, 1852. Vol. 1. P. 88.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

играющую важную роль в этой главе: если нам не нравится определенная картина или определенный стиль живописи, то только обыватель сделает вывод, что мы должны почитать своим идеалом фотографию. Не фотографическая точность, а новый живописный стиль — вот что нужно в этих обстоятельствах. И так же в политике: думая, как наилучшим образом выступить от имени представляемых лиц, представитель должен спросить себя, какой политический стиль будет в наибольшей мере удовлетворять требованиям электората. И этот вопрос действительно требует от представителя подлинно *творческого* ответа, поскольку в самом электорате нет стиля, который спокойно дожидался бы, пока его скопируют; и сам ландшафт не подсказывает, в каком стиле его изобразит художник. Я не хочу сказать, что понятие народного суверенитета не было наиболее полезным концептуальным инструментом в борьбе против абсолютистских политических теорий начиная с XVII века. Конечно, данное понятие было самой ценной и эффективной фикцией в этой борьбе, но мы не должны забывать, что оно есть фикция и навсегда останется ей.

Миметическая репрезентация и ложно понятые демократические идеалы приводили ко все более полному слиянию государства и общества, и естественной параллелью этого процесса было развитие правительственной бюрократии. Чтобы слиться с обществом, государство пытается стать как можно более точной его копией (подобно хамелеону, приобретающему ту же окраску, что и окружающая среда). Государство и правительство в принимаемых им решениях стремятся к максимально полному отождествлению со всеми нюансами, существующими в обществе. Теперь требуется, чтобы всякая зыбь на поверхности общества получала отклик в процессе принятия государственных решений. Отсюда вытекает крайне своеобразная смесь абсолютизма и консерватизма, типичная для современного демократического государства. Государство абсолютно в том смысле, что оно пытается устранить все возможные источники (эстетического) трения между собой и обществом и таким образом осуществить полный контроль над ним, рассматривающим абсолютизм как истинную цель государства. Государство консервативно, поскольку оно не пытается добиться такого контроля путем организации общества с позиций, которые располагались бы явно вне самого общества (что характерно для абсолютизма). Скорее государство хочет достичь контроля, спрятавшись насколько возможно за наиболее очевидными, как оно полагает, функциями и качествами общества. Бюрократия — инструмент государства, призванный максимально заглушевать (эстетические) различия между ним самим и обществом: бюрократические правила нацелены на отождествление государства и общества в том же смысле, в каком мы полагаем, что определенные

правила проекции могут задавать отношение между картиной и тем, что она изображает. Если миметическая репрезентация есть иллюзия, средствами которой представляемое лицо надеется обрести тождество государства и общества (полагая, что оно было бы полнейшим осуществлением политической свободы), то государство надеется достичь того же тождества при помощи бюрократии и бюрократических правил. Бюрократия и миметическая репрезентация — ветви одного дерева, и нас не должно удивлять, что это дерево находит самую питательную почву в тоталитарном государстве.

Но если мы хотим разжать удушающую хватку бюрократии и не дать государству еще больше увязнуть в социальной трясине, то репрезентативная природа государства должна быть усилена. Там, где некогда была бюрократия, должна быть репрезентация, если перефразировать Фрейда, причем следует опять ясно обозначить дистанцию между представителем и представляемым лицом. Политическая власть снова становится зримой только в том случае, если подчеркиваются эти различия или дистанция. Следует признать, что с точки зрения государства величайшая заслуга миметической теории состоит в том, что она помогает государству сделаться невидимым, максимально затемнить природу и объем политической власти и беспрепятственно принять левиафановские размеры и свойства, какие оно приобрело за последние два столетия. Миметическая политическая власть стремится стать невидимой, а значит, неконтролируемой; эстетическая же власть отчетливо видна, узнаваема как таковая. В этом смысле она сохраняет на всех уровнях, от сознания отдельного гражданина до коллективного «сознания» представительных институтов, желание контролировать и сдерживать коллективную власть. Миметическая репрезентация парализует политический контроль, а эстетическая репрезентация стимулирует его, создавая в то же время политическую власть. Следовательно, только эстетическая власть позволяет нам пройти между Сциллой и Харибдой, то есть между тиранией и слабостью. Миметическая же репрезентация приветствует этих недостойных союзников. И тот факт, что самая характерная особенность западных демократий (по сравнению с предыдущими формами правления) — это парадоксальное соединение тирании и слабости, показывает и меру победы миметической концепции государства, и необходимость вернуться к его эстетическому пониманию.

И последний вывод таков: индивид становится гражданином только посредством эстетической репрезентации. Индивид, живущий в политическом порядке без репрезентации или с миметической репрезентацией, никогда не нуждается в том, чтобы выйти за собственные пределы, посмотреть на мир с другой точки зрения, а значит, может

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

позволить себе оставаться чужим в политическом порядке. Миметическая репрезентация способствует созданию политического порядка, в котором никто не встречается с кем-то другим, поскольку все убеждены, что существуют в миметической гармонии с коллективом. Только благодаря эстетической репрезентации индивид становится микроскопом всего политического порядка, отражаемого его «я»; иначе он не настоящее *zoon politicon*⁷². Вопреки нашим интуиции и сильной республиканской традиции прямая демократия подавляет готовность гражданина признать присутствие этого политического макрокосма. Опять же вопреки тому, что стало общим местом в политической философии, гражданин, который голосует за представителя, — потенциально лучший и более ответственный гражданин, чем гражданин при прямой демократии, который может позволить себе оставаться политической партией из одного человека. Поэтому нет оснований присоединяться к Ханне Арендт в ее восхищении греческим полисом, который, как убедительно показывают исторические факты, редко поднимался выше того, что Шиллер рассматривал как «динамическое государство», где политические разногласия никогда не способствуют политической креативности, а лишь подрывают силу политического тела. Только эстетическая репрезентация поистине цивилизует и социализирует.

ЭКСКУРС: О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Нойман заметил в 1954 году, что политическая партия всегда оставалась «падчерицей политической теории», и за последние 40 лет ситуация существенно не улучшилась⁷³. Как подчеркнул Уэр, все драматические метаморфозы, какие претерпела политическая партия с момента ее возникновения полтора века назад, активно изучались и комментировались политологами, но никогда не вызывали ни малейшего интереса у политических философов⁷⁴. Характерно, что в работах таких влиятельных политических философов, как Ролз, Роберт Нозик, Уильям Коннолли, Роберт Белла и т.д., проблема политической партии никогда не рассматривается. Книга Брайана Барри «Демократия, власть и справедливость» составляет редкое исключение, хотя и в этом объемистом и авторитетном труде политической партии посвящено лишь две страницы⁷⁵.

⁷² *Zoon politicon* (др.-греч.) — политическое животное. — *Примеч. пер.*

⁷³ Цит. по: *Steininger R.A. Soziologische Theorie der politischen Parteien. Frankfurt, 1984. S. 9.*

⁷⁴ *Ware A. Political Parties // New Forms of Democracy / ed. by D. Held, C. Pollitt. L., 1986. P. 112.*

⁷⁵ *Barry B. Democracy, Power and Justice. Oxford, 1989.*

Нетрудно объяснить этот поразительный недостаток современной политической теории. Мы должны прежде всего признать, что двумя очевидными и естественными главными действующими лицами на политической сцене с необходимостью будут гражданин и государство. Поэтому мы воспринимаем политическую партию просто как посредника между ними и заключаем, что все, что мы хотели бы сказать о политической партии, можно сказать только тогда, когда будет полностью разъяснено отношение между гражданином и государством. Поэтому мы полагаем, что партия — не первостепенная политическая проблема и что к проблемам, связанным с ней, можно обратиться только после решения ряда более глубоких и фундаментальных проблем.

На этом этапе обсуждения я не хочу критиковать эту (неявную) посылку современной политической философии; возможно даже, что она истинна. В данном контексте достаточно заметить, что эта неявная посылка уже предполагает интересный вопрос. Если политическая партия есть посредник между гражданином и государством, должны ли мы соотносить партию с гражданином или же рассматривать ее как часть государства? На первый взгляд может показаться, будто демократ может выбрать только первый вариант: ведь разве демократия не требует, чтобы гражданин и государство были как можно более близки друг другу, и разве тесная связь между гражданином и государством — не очевидный инструмент для достижения этой похвальной цели? Но такой вывод был бы слишком поспешным. Не надо забывать, что демократический процесс принятия решений требует от нас учета *всей* траектории между гражданином и государством. С этой точки зрения вполне возможно, что укрепление связей между гражданином и политической партией в одной части траектории неизбежно приведет к потере контроля партии над государством в другой ее части. Чем ближе партия к гражданину, тем больше она может таким образом удаляться от государства и от политических решений, которые могут приниматься только на государственном уровне. Точно так же мы проводим различие между правительственными партиями и теми партиями, что довольствуются оглашением своих идеологических убеждений (и тем самым сохраняют теснейшую связь со своими избирателями), зная, что последние редко влияют на процесс принятия политических решений. Отсюда следует, что в хорошо работающей демократии партии готовы действовать на относительно большом расстоянии от своих избирателей и на кратчайшем — от государства.

Но есть еще более интересная проблема, сформулированная в работах одного из немногих политических философов, которые обсуждали значение партии в современной демократии. Герхард Лейбхольц (который уже встречался нам в этой главе) признает необходимость политической партии для современной демократии: без партии элек-

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

торат не имел бы эффективного инструмента для влияния на процесс принятия государственных решений⁷⁶. Расстояние между отдельным гражданином и государством слишком велико, и поэтому первый не может оказывать сколько-нибудь действенного влияния на последнее; без партий демократия быстро выродилась бы в автократию. Можно усомниться в исторической обоснованности страхов Лейбхольца, поскольку политические партии создавались в основном для преодоления инерции и слабости государства: без партий правительству редко удается добиться от парламента одобрения какого-либо из своих планов. Так что в действительности мы должны бояться получить от политической системы без политических партий скорее паралич, чем деспотизм. Но если оставить это в стороне, мы видим, что аргументация Лейбхольца вынуждает его приписать партии ту роль, которая поначалу отводилась гражданину: только благодаря политической партии, а не отдельному гражданину воля народа может получить какое-либо выражение. Так, Лейбхольц пишет: «Демократическое партийное государство и формально, и по своей сущности есть не что иное, как рационализированный вариант плебисцитной демократии, то есть замена прямой демократии применительно к нуждам современного государства»⁷⁷.

Другими словами, партийное государство, по Лейбхольцу, — это замена прямой демократии в том смысле, что роль, которую в прямой демократии должен играть гражданин, Лейбхольц отдает партии. Это также предполагает, что в партийном государстве Лейбхольца публичные споры в парламенте во многом утратят смысл. Если демократическое принятие решения осуществляется по образцу плебисцитной демократии, как того требует Лейбхольц, то парламентские дебаты больше не будут иметь смысла, поскольку в этом случае нет легитимного политического института для проведения в жизнь их результатов. У нас есть лишь партии; именно они диктуют государству, что оно должно решить. И поэтому Лейбхольц приходит к выводу, что в его демократии политические партии — «истинные господа законодательства» (*die eigentliche Herren des Gesetzgebung*)⁷⁸. Таким образом, Лейбхольц вынужден игнорировать то, что парламентские споры часто завершаются компромиссом, что компромисс иногда придает политической проблеме совершенно новый характер и что удивительная способность демократического процесса принятия решений урегулировать социальные и политические проблемы, которые не могут быть решены по-другому, и его несравненный талант смягчать опасные политические кон-

⁷⁶ См. с. 43 наст. изд.

⁷⁷ *Leibholz G. Verfassungsstaat — Verfassungsrecht. Stuttgart, 1973. S. 90.*

⁷⁸ *Leibholz G. Strukturprobleme der modernen Demokratie. Frankfurt am Main, 1974. S. 95.*

фликты возникают благодаря тому, что происходит при взаимодействии партий, а значит, вне самой партии. Мы можем полностью признать ту важную роль, какую Лейбхольц отводит политической партии, и совершенно не согласиться с ним, поскольку он не понимает причин значительного превосходства демократии над другими политическими системами. И действительно, больше всего в характеристике демократического государства у Лейбхольца поражает его совершенное непонимание того парадокса, что наши основные политические принципы могут быть защищены только нашей готовностью обсуждать их. Тот, кто не желает сделать свои важнейшие политические принципы предметом обсуждения, именно по этой причине и предаёт их, если следовать известной необычной логике демократии⁷⁹.

Это подводит меня к другой особенности концепции Лейбхольца, а именно к тезису о тождестве, согласно которому в идеале тождество избирателя, партии и государства достигается при демократии. В этом тезисе можно выделить два аспекта. Прежде всего, он требует максимальной «непрерывности» между гражданином и государством (которую в ее оптимальном осуществлении мы находим при прямой демократии) и тщательного сглаживания любой «шероховатости», угрожающей этой непрерывности. Это само собой подводит ко второму аспекту тезиса о тождестве. Политическая партия — самый очевидный кандидат на роль выпрямителя всех изгибов линии, связывающей гражданина с государством, поскольку именно партия занимает большую часть этой длинной траектории. Неизбежным результатом оказывается то, что и гражданин, и государство во многом утрачивают значение для партии и в пользу партии (это следствие из рассматриваемого тезиса было одобрено Лейбхольцем). Государство становится в таком случае лишь продолжением партии, а гражданин полностью поглощается партией. Партия как посредник между гражданином и государством становится тем самым партией, представляющей собой нового Левиафана в политической реальности. Вслед за Левиафаном — государством у Гоббса и Левиафаном — индивидуальным избирателем в прямой демократии Руссо мы получаем теперь Левиафана — политическую партию у Лейбхольца.

С точки зрения осуществляемого в этой главе анализа политической репрезентации не составляет труда выявить слабости лейбхольцевской характеристики политической партии и ее роли в демократическом государстве. Мы отметили, что теории Лейбхольца и Руссо не учитывают эстетический зазор между электоратом, с одной стороны, и политической партией или государством — с другой, и поэтому в обеих теориях устраняется единственный источник легитимной политической власти. И это подсказывает, как нам ответить на вопрос, заданный в начале этого экскурса: где именно на траектории между гражданином и государством мы должны распо-

⁷⁹ Этот парадокс подробно обсуждается в гл. III наст. изд.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

жить политическую партию? Сформулируем его иначе: надо ли рассматривать политическую партию как продолжение гражданина или же как некоторую часть государства?

Теперь уже должно быть ясно, что если заменить тезис Лейбхольца о тождестве, касающийся отношения между гражданином и политической партией, тезисом о различии, отстаиваемым и обосновываемым эстетическим пониманием природы политической репрезентации, то эстетический зазор должен будет находиться между гражданином и партией, а не между партией и государством. Партия не *есть* гражданин, она *представляет* гражданина; и неверно, что государство представляет политические партии. Кроме того, мы не можем не заметить тоталитарных соблазнов, предполагаемых лейбхольцевским объяснением отношения между гражданином и партией⁸⁰. Только благодаря эстетическому зазору между гражданином и партией гражданин может не связывать себе руки в отношениях с политической партией и может быть гарантирована политическая и гражданская свобода гражданина. Стремление к единству и тождеству в тех местах, где их не должно быть, всегда было самым мощным стимулом к развитию тоталитарного образа мысли и политических систем, подвергающих опасности свободы гражданина. Наконец, на основании этих соображений мы можем заключить, что вопреки концепции Лейбхольца политическая партия ближе к государству, чем к гражданину. Политическая партия, следовательно, до некоторой степени уже составляет часть государства и могла бы справедливо рассматриваться как его зародыш, как протогосударство, а не как некая гражданская организация с политическими целями. Политическая партия — больше, нежели общепризнанная и успешная группа давления.

Сразу же соглашусь, что такое позиционирование политической партии в публичной сфере иногда проблематично. Ведь если партия рассматривается как зародышевое государство, или протогосударство, то явно существует опасность, что партия начнет вести себя соответствующим образом и станет угрожать единству государства. Такие опасения уже были выражены политиками и теоретиками того периода, когда начиная с XVIII века в западноевропейских странах постепенно складывалась партийная система. Бейм характеризует этот ранний период существова-

⁸⁰ Ср.: Die Theorie vom Identität aufgebauten Parteienstaat provoziert geradezu die Abkehr von und die Verachtung des Parteiwesens, denn an diesem Massstab der Identität gemessen ist das Parteiwesen eine tiefe Unwahrhaftigkeit, die nur durch die noch grössere totalitäre Identifikation überwunden werden kann («Теория тождества выстроенного партийного государства сразу же ведет к отказу от партийности, провоцирует презрение к ней, поскольку при заданном мериле тождества партийность представляется чем-то глубоко неверным, что можно преодолеть только за счет еще большего тоталитарного отождествления») (Hennis W. Die missverständene Demokratie. Freiburg, 1973. S. 63).

ния партий следующим образом: «В ранних теориях политических партий их обвиняли в том, что они являются “фракциями”, защищающими узкие интересы определенных общественных групп» (In der frühen Parteitheorie wurden Parteien als Interessengruppen, als “Fraktionen” negativ bewertet)⁸¹. И теоретики в содружестве с Гоббсом не сомневались в том, что «фракции» относятся к «тем вещам, которые ослабляют государство или способствуют его распаду»⁸². Опасались, что «фракция» будет разлагать единство политического тела или паразитировать на нем (Гоббс где-то выразительно охарактеризовал фракции как «червей в утробе государства»), поскольку верили в неизбежную противоположность интересов фракции или партии и государства⁸³. Фракции — и то, что сегодня мы называем партиями, — рассматривались как заговоры против народа и государства. Ведь понимание государственного интереса всегда будет искаженным, если он воспринимается с учетом интереса фракции или партии, поскольку интересы как раз и отличают одну фракцию или партию от другой. Соответственно, широта спектра различий, существующих между партиями, есть точная мера того, в какой степени они готовы извратить государственный интерес. Фракция или партия может воспринимать государство только с точки зрения собственного интереса, и потому она может лишь «децентрализовать» государство, заставляя его служить своим целям и интересам. И нас не должно удивлять то, что при первых нерешительных попытках защитить политическую партию всегда подчеркивалось ключевое различие между фракциями и партиями. Так, Вольтер в «Энциклопедии» пишет: «Этот термин [“фракция”] первоначально означал мятежную партию в государстве; термин “партия”, напротив, никогда не имел неприятных ассоциаций, какие всегда были связаны с термином “фракция”» (La principale acception de ce terme signifie une partie séditieuse dans un état, le terme *parti* par lui même n’a rien d’odieux, celui de *faction* l’est toujours)⁸⁴. А Болл показал, что партии стали приемлемыми для многих людей только после того, как агрессивный термин «фракция» был выброшен из политического дискурса и заменен более нейтральным термином «партия»: последний был заимствован из безупречной и почтенной судебной практики, в которой «стороне» (party) ответчика противостоит «сторона» истца⁸⁵.

⁸¹ *Beyme K. von. Parteien in westlichen Demokratien. Munich, 1982. S. 22.*

⁸² Цит. по: *Ball T. The Prehistory of Party // Id. Transforming Political Discourse. Oxford, 1988. P. 29.*

⁸³ *Ibid. P. 30.*

⁸⁴ Цит. по: *Eskes J.A.O. Het Nederlandse beeld van politieke partijen tussen 1813 en 1848 // Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991. Groningen, 1992. P. 62.*

⁸⁵ Этот аргумент приводится в статье Болла, упомянутой в примеч.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Изменение терминологии, однако, не меняет сути вещей, и к тому же не вполне ясно, настолько ли политическая партия похожа на партию в юридическом смысле слова, чтобы сходство между ними делало такой перенос обоснованным. Заимствование слова «партия» из судопроизводства в действительности порождает путаницу, поскольку отношение между государством и политическими партиями существенно отличается от отношений между судьей и сторонами в суде: достаточно лишь представить себе, что случилось бы, если бы судопроизводство строилось по образцу парламентской процедуры принятия решений. Кроме того, после якобинства и правления коммунистических партий в Восточной Европе при советском доминировании термин «партия» сохранит довольно отталкивающее звучание. Конечно, бывшие коммунистические страны дают нам лучшую и наиболее убедительную иллюстрацию того, сколь опасными могут быть партии, сколь безусловно правы были наши предки, выражая сомнения относительно политических партий. Но именно этот факт показывает, при каких обстоятельствах такие страхи оправданы, а при каких — нет, и когда партия может действительно представлять угрозу единству государства. Конечно, я здесь имею в виду тот факт, что решающим выступает различие между существованием одной и двух (или больше) партий. И я говорю не столько о том тривиальном соображении, что наличие по крайней мере двух (или более) партий — необходимое, хотя и не достаточное условие для эффективной защиты свободы и гражданских прав гражданина, сколько о том более интересном и далеко не столь очевидном факте, что наличие двух (или более) партий, как ни странно, — более надежная гарантия сохранения единства государства, чем наличие лишь одной партии. На первый взгляд более правдоподобной кажется противоположная интуиция. Разве конфликт между партиями не таит большей угрозы единству государства, чем наличие у государства надежной поддержки со стороны единственной, но сильной партии? Фактически именно так политики вроде Ленина обосновывали необходимость узурпации государственной власти партией на переходном этапе от капитализма к социализму. Поэтому мы вполне можем спросить: благодаря какому механизму, столь явно противоречащему нашему интуитивному представлению, конфликт партий поддерживает, а не ослабляет единство государства?

Бейм показывает нам, как ответить на этот вопрос:

Само наименование партий, происходящее от латинского слова *pars*⁸⁶, указывает на то, что демократическая партия никогда не может претендовать на представление целого, сколько бы ее пропаганда ни подчеркивала общественный интерес и даже ни разрабатывала тенденцию вести себя как естественная правящая партия (*Der blosse Name der Parteien, abgeleitet vom lateinischen Wort pars (Teil), deutet darauf*

⁸⁶ *Pars* (лат.) — часть. — Примеч. пер.

hin, dass eine demokratische Partei niemals beanspruchen kann, das Ganze zu repräsentieren, so sehr sie auch in ihrer Propaganda das Gemeinwohl herausstellt oder sogar die Tendenz entwickelt, sich als natürliche Regierungspartei zu gerieren)⁸⁷.

Ключевая подсказка здесь заключается в том, что партия *всегда* остается частичной или предвзятой и потому *никогда* не может рассматриваться как совершенно адекватное выражение или скорее репрезентация «целого». Другими словами, как ни парадоксально, партия именно потому, что она лишь «частична», именно потому, что она всегда нуждается в «восполнении» (если использовать терминологию Деррида) другими партиями, наилучшим образом легитимирует понятие целого и единства государства, косвенно указывая на наличие других партий или неявно подразумевая его. Как при чтении текстов по методу Деррида понятие целого текста (или его значения) можно помыслить только в терминах частичности и необъективности нескольких отдельных интерпретаций текста, точно так же партия служит лучшим аргументом в пользу единства государства именно из-за ее несовершенства в том, что касается репрезентации целого. С этой точки зрения демократия *sui generis* оказывается «постмодернистской», поскольку единство государства можно правильно помыслить только в терминах различий.

Это подводит меня к заключительной части данного экскурса. Теперь понятно, что политические партии суть не случайные компоненты демократического государства, оправдываемые лишь требованиями политической практики, а существенное условие его единства. Другими словами, партия — не просто посредник между гражданином и государством, но одно из необходимых политических *dramatis personae*⁸⁸, не менее важное, чем гражданин и государство. Без нее политическая игра вообще не могла бы быть сыграна. Как заметил Томассен, политический теоретик, который пренебрегает значимостью политической партии или отводит ей лишь второстепенную роль, тем самым лишается возможности адекватно понять природу демократического государства⁸⁹. Понимая, что политические партии принадлежат к самой сердцевине демократического правления, можно даже утверждать, что до тех пор, пока партии не сформировались, индивидуального избирателя следует считать персональным единством того избирателя, каковым он является, и политической партии из одного человека,

⁸⁷ *Beume K. von. Parteien in westlichen Demokratien. S. 24.*

⁸⁸ *Dramatis personae (лат.) — действующие лица. — Примеч. пер.*

⁸⁹ *Thomassen J.J.A. Het functioneren van de representatieve democratie // Hedendaagse democratie / ed. by J.J.A. Thomassen. Alphen aan de Rijn, 1992. P. 175.* В англосаксонской литературе о демократии нет публикаций, равных этому великолепному сборнику, столь актуальному, компетентному, аргументированному и информативному.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

за которую он голосует (и в этом пункте прямая демократия и представительная демократия начинают расходиться). Из необходимости конкурирующих политических партий можно вывести еще одно заключение: демократия может работать только при наличии живых политических споров и конфликтов между *несколькими* политическими партиями. Монистические тенденции, которые могут скрывать потенциальный политический конфликт, не способствуют, а угрожают единству государства. Не *concordia*, а *discordia res parvae crescunt*⁹⁰, если перефразировать девиз Голландской республики до 1795 года. Уже Макиавелли понял, что единение требует конфликта и *разъединения*.

⁹⁰ *Concordia* (лат.) — согласие; *discordia res parvae crescunt* (лат.) — при несогласии незначительные дела вырастают. — *Примеч. пер.*

Научное издание

Серия «Политическая теория»

ФРАНКЛИН РУДОЛЬФ АНКЕРСМИТ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
ПО ТУ СТОРОНУ ФАКТА И ЦЕННОСТИ

Главный редактор

ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией

ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор

МАРИЯ ЯНУШКЕВИЧ

Художник

ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка

ЛЮБОВЬ РОЧЕВА

Корректор

ЯНА ЛЕБЕДЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел./факс: (495) 611-15-52

Подписано в печать

5.12.2013. Формат 70×100/16

Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 35,0. Уч.-изд. л. 28,5

Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Изд. № 1259. Заказ №

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”»

121099, Москва, Шубинский пер., 6